

## Часть IV. ИСТОРИЯ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

Э. С. Кульпин-Губайдуллин (Институт востоковедения РАН)

### История XXI века

Прошлый мир Истории *мог* быть миром людей. Нынешний мир Истории *не может* быть миром *только человека*, но может быть миром одновременно Человека и Природы. Человек есть часть системы «неживая природа – живая природа – общество».

Историки XIX–XX вв. стремились к комплексному отображению действительности. Это путь М. Вебера и Школы «Анналов». Однако они не смогли стать не только естественниками, но даже социологами или экономистами. Это, на мой взгляд, главная причина кризиса школы «Анналов». Сложность в том, что нужно использовать понятия, принципы и *систему мышления* естественных наук, которые создавались отнюдь не для истории и должны быть адаптированы ею.

История исследует движение, т. е. процессы, через характеризующие их вехи – события и явления. Если главный объект – процессы, то необходимо не столько строгое и детальное изучение отдельных практически однотипных событий, что характерно для традиционной истории, сколько выделение их общих черт. Последовательный ряд однотипных событий – предмет изучения узких специалистов. Комплексное исследование дает большие результаты, поскольку длина ряда не так важна, как его характеристика. Главное – изучение неординарных, поворотных событий, бифуркаций.

Вопросы к прошлому должны ставиться в очередности: сначала *что (что именно) происходит* (происходило), затем *как (каким образом)* происходит (происходило). Сначала общий взгляд на процессы и поворотные моменты и только затем – в зависимости от степени необходимости – детализация.

Традиционная история, как правило, основана на письменных, нарративных источниках. Если фактов нет, нет и истории, но если нет фактов в нарративных источниках, они могут быть получены иначе: традиционно – как результат археологических раскопок, менее традиционно – при помощи данных истории природы (биоты, климата, геологии и др.), совсем нетрадиционно – совместным, комплексным использованием данных естественных и гуманитарных наук. Из немногих достоверных фактов не создается целостной картины прошлого. А если историки принимают ряд недостаточно достоверных сведений за истинные факты, создается не реальная, а мифологическая история. В

естественных науках такое представление тоже имеет место, но вовсе не претендует на истинность и называется моделью.

Отдельный факт может быть сомнителен. В естественных науках возможность его использования появляется лишь с проверкой. Иными словами, в естественных науках *любой факт нуждается в комментариях*, т. е. в согласовании с другими фактами. Новые косвенные свидетельства могут быть истолкованы по-разному, тогда высокую роль играет их совокупность. Необходимо «увидеть» и на конкретных фактах показать *вероятность* того или иного процесса, явления или события. Другими словами, познавая прошлое, мы строим модели, не более того.

Вышеперечисленные принципы легли в основу социоестественной истории (СЕИ) – истории *взаимодействия человека и природы*. Взаимодействие осуществляется главным образом в хозяйственной деятельности. Именно в ней проявляются прямая и обратная связи – необходимое условие взаимодействия. Хозяествуя, человек действует не как экономический автомат, а в соответствии со своими представлениями о мире и о себе, моралью, нравственностью, системой ценностей. В соответствии со своим мировоззрением он создает технологии – своеобразные правила игры человека с природой. Техника и технологии позволяют выявить в мировоззрении больших групп людей те черты (составляющие элементы коллективного бессознательного, по К. Юнгу), которые не удастся выявить традиционным социальным, психологическим анализом. Важной задачей СЕИ является выявление взаимосвязи между мировоззрением и технологией, а поскольку *каналы эволюции* общества фиксируются системами ценностей, одно из главных направлений в СЕИ – моделирование систем ценностей для разных цивилизаций.

Главные «действующие лица» СЕИ – *хозяйствующий человек и вмещающий ландшафт*, сфера их взаимодействия. Развитое, т. е. цивилизованное общество, имеющее достаточно сильные связи между людьми и большими группами людей, – *живой, целостный организм*. *Вмещающий ландшафт* – часть природы, подвергнутая воздействию человека, т. е. уже не естественная, а антропогенная. Эта часть природы является, с одной стороны, сферой деятельности – жизненным пространством *человека хозяйствующего*, с другой – живым биологическим организмом.

В ряде социоестественных исследований истории Европы, России, Китая и Японии «размеры» обоих действующих лиц были выявлены путем сопоставления скорости процессов, идущих в «организме» общества и «организме» природы. Со стороны общества это, прежде всего, *суперэтнос – группа этносов, объединенных не только общим Вмещающим Ландшафтом, но и общей судьбой*. Общая судьба этносов определяется общими представлениями о мире и о себе, ядром этих представлений – *системой основных ценностей*.

Для СЕИ важны два состояния общества и природы – социально-экологический кризис и социально-экологическая стабильность. Во время кризиса происходят структурные и функциональные изменения в системе. Они являются результатом процессов, протекающих как в природе, так и в обществе. В результате, вырабатывается «формула» социально-экологической стабильности, состоящая из компонентов, характеризующих отношения в природе, в обществе и между природой и обществом. Именно во время кризиса формируются представления людей о мире и о себе, сердцевиной которых является система ценностей, идет сложный процесс установления основных параметров стабильного существования как природы, так и общества.

Задача СЕИ в соответствии с основными принципами естественных наук – обратить внимание не на все события, факты истории, но на те из них, которые знаменуют поиск новых элементов структуры и функций двух организмов – природы и общества, а также нового характера взаимодействия между ними.

**К. В. Хвостова** (Институт всеобщей истории РАН)

### **Проблема сближения естественнонаучного и гуманитарного знания**

В настоящее время наблюдается новый виток в сближении естественнонаучного и гуманитарного знания, основанный на идеях синергетики и проявляющийся в математическом макро моделировании, имеющем целью открытие исторических законов и прогнозирование будущего. Первые попытки сближения восходят к ранней античности, когда «понятие “физис” означало сущее в целом, включая природу и историю» (М. Хайдеггер). Однако у Аристотеля судьба человека (*тихи*), которой свойственно целеполагание, отличается от природы с ее спонтанностью (*автоматон*). Далее европейская традиция различала мир сущего, изучаемого естественными науками, и мир должного, изучаемого науками о нравственности (Кант), о духе (Дильтей). Соответственно, различалось объяснение и понимание (герменевтика). Идея сближения названных наук, понимаемая как влияние естественнонаучного знания на гуманитарное, характерна для эпохи Просвещения, а затем для позитивизма, для физической социологии Т. Гоббса, для понимания социальных фактов как вещей Э. Дюркгеймом, к идеям которого восходит социологический структурализм и функционализм 1960-х гг. Применение математических методов в социально-экономической истории признавалось учеными разных философских направлений (К. Поппер, Р. Коллингвуд, М. Фуко, А. Про).

Сближение естественных и гуманитарных наук связано с историческим направлением в эпистемологии (Т. Кун, И. Лакатош, П. Фейерабенд). Под влиянием гуманитарных наук в естественнонаучном знании признается субъектно-объектная корреляция, исторические изменения разума, элементы повествования, зависимость от социально-

культурного контекста. Представляется, что следовало бы говорить не об идее историчности разума, а об изменении во времени информационной ситуации: объема информации, способов ее хранения, переработки и трансляции, влияющих на содержание и развитие наук. Наряду с идеями влияния гуманитарного знания на естественное развивается восходящее к постмодернизму лингвистическое направление, поставившее в центр исследований изучение языка и утверждающее самостоятельный характер гуманитарного знания, основанного на методах герменевтики. В последние десятилетия на базе исторического направления в эпистемологии возникла современная синергетика, представители которой определяют ее как новое мировидение, в рамках которого идея множественности причин и в природе, и в обществе заменяется представлением о саморегулируемом хаосе. Можно считать, что предвестником соответствующих идей был Гераклит, писавший о вечногорящем огне, в меру возгорающем и в меру затухающем.

Идеолог синергетики С. П. Курдюмов ссылаясь в качестве источника синергетических воззрений на учение Лао-дзы. Нам представляется, что лаконичная ссылка на уникальный восточный опыт при рассмотрении формирования европейских мировоззренческих традиций, мало убедительна. Вернее было бы сослаться на опыт восточнохристианской патристики с ее идеями божественных энергий и ответной со стороны человека и всего тварного мира синергии, обеспечивающей спонтанную эволюцию мира. На основе синергетики развивается сегодня макроматематическое моделирование в истории с его идеей установления вечных исторических законов. В отличие от воззрений Т. Куна и др. представителей исторической эпистемологии высказывается идея влияния естественных наук на гуманитарные. Однако парадокс состоит в том, что основатель синергетики И. Пригожин, а также Ю. Хабермас, наоборот, писали о влиянии гуманитарного знания на физику. Вот почему идеи родоначальника синергетики были подвергнуты ревизии С. П. Курдюмовым, который считал, что Пригожин «слишком расширительно трактует непредсказуемость». Нам же представляется, что сторонники современной макроистории в высшей степени расширительно понимают предсказуемость в обществе.

В эпистемологии истории мнение, аналогичное названным идеям И. Пригожина и фон Неймана, высказывали К. Поппер, М. Хайдеггер, О. Шпенглер, А. Тойнби, Г. Тард, Й. Хейзинга. Проблема сближения естественнонаучного и гуманитарного знания обсуждалась недавно на «Круглом столе» при журнале «Вопросы философии». В итоге академик В. С. Степин справедливо подчеркнул необходимость опираться на конкретный материал. Однако в ходе самой дискуссии этого не произошло, т. к. историки, работающие с конкретным материалом, не были приглашены на заседание. В результате, участники дискуссии признали, что она носила слишком абстрактный характер.

Для историка теоретический аппарат синергетики и ее понятия – избыточная информация. Термины «спонтанность», «бифуркация»,

«хаос» и др. соответствуют таким привычным для историка понятиям, как «кризис», «упадок», «стагнация», «расцвет» и т. д. Реальное значение для историка имеет применение математических методов в конкретных исследованиях по социально-экономической истории, восходящее к рационалистско-позитивистской эпистеме и не предполагающее выявления общих законов и прогнозов, относящихся к конкретной исторической ситуации.

Прогнозы в экономической науке и социологии, носят относительный характер, они действительны только пока функционирует соответствующая тенденция. Если она в силу каких-либо причин прерывается, то прогноз не сбывается. То, что представители макромоделирования называют историческим законом, в действительности таковым не является. Например, рассматривается как единое целое огромная эпоха от неолита до XV в. н. э. Составляется график роста населения или продовольствия, который характеризуется как закон. Однако источники за столь длительный период неоднородны и заведомо несопоставимы. Сведения берутся из чужих работ без учета субъектно-объектной корреляции в истории. Иными словами, график отражает не закон, в основе которого лежит некоторая необходимость, а случайное явление. Главная ошибка состоит в том, что в рамках нового мировидения, как его понимает И. Пригожин, требования гуманитарных наук, как и законы классической механики, не отбрасываются как неверные, а включаются в него. Кроме того, в органической природе спонтанность определяется биологическими инстинктами, в неорганической – законами, в жизни человека – его разумной свободой, интенциональной деятельностью, социальными инстинктами, направленными во многом на подавление биологических. Деятельность человека вызывает появление, поддержание или прекращение функционирования «саморегулируемых» тенденций. Регуляторами этой «саморегуляции» выступают нравственность, мораль, различные табу, право, власть и др. социальные, а не природные институты.

*Жак Так* (Бельгия)

#### **Причинность в качественных и количественных исследованиях**

Обращаясь к работам последних десятилетий о «методах качественного исследования» и, в частности, о причинности в качественном анализе, нельзя не упомянуть о книге голландского историка Appie-Romein Verschoor «Оглянись в удивлении». Особенно много публикаций о «качественном сравнительном анализе», «сравнительных исследованиях», «контрфактическом анализе», «отслеживании процессов» и т. п. появляется в сфере политической науки. В одном из названий даже ставится вопрос «Причинность в кризисе?». Работа «Планируя социальное исследование» считается настолько важной, что ей посвящено множество рецензий, и при ссылках на нее часто ставится аббревиатура

ККВ (по авторам – King, Keohane, Verba) и DSI (“Designing Social Inquiry”, название книги). В индексе цитирования политологов заметное место занимает книга Ch. Ragin «Компаративный метод».

В рассуждениях о необходимости «смешанных методов» в социальных науках – в рамках интеграции количественных и качественных исследований – также возникают дискуссии о причинном объяснении и следствии. Во всех этих дискуссиях, преимущественно в сфере политической науки, есть открытые или неявные ссылки на дебаты прошлых лет в других дисциплинах. Даже в математике, о которой многие думают как о типично «количественной» дисциплине, можно говорить о «качественной математике», принимая во внимание теорию катастроф. Экономике большинство также считает количественной дисциплиной, но, как указывал В. Зомбарт, экономическое поведение можно понять, исходя из мотивов индивидуумов, совершающих поступки. Сказанное верно и для исторической науки, в которой количественный подход всегда будет находиться в контексте нарративной историографии, подсчеты – в контексте описания (повествования, рассказа).

Во всех этих дебатах присутствует значимая отсылка к М. Веберу, который уже в XIX веке построил мост между количественным и качественным подходами. Действительно, позитивизм в духе Конта и Милля однокбок. Герменевтика *a la* Дильтей, Виндельбанд и Риккерт тоже несвободна от односторонности. Социологу Макс Веберу удалось соединить “Verstehen” (понимание) герменевтики с “Erklären” (объяснением) позитивизма в том, что он называл объясняющим пониманием – “Erklärendes Verstehen”. Его идея оказалась блестящей, и не нужно объяснять, что веберовский синтез заслуживает дальнейшей разработки.

Думая как о разных направлениях в социологии с их рассуждениями о каузальности, так и о самом предмете каузальности, мы встречаемся с рядом трудностей. До сих пор не проводилось глубокого и фундаментального обсуждения причинности. Очевидно, что высказыванию о причинности в количественных и качественных исследованиях должно предшествовать 1) объяснение концепта причинности; 2) рассмотрение области «напряжения» между количественным и качественным исследованием.

Поэтому важно начать с обзора наиболее важных теорий причинности, начиная с Аристотеля, «духовного отца» каузальности. Особого внимания заслуживают две выдающиеся теории: INUS-каузальности Джона Макки и каузального реализма Hagré и Madden и их последователя R. Bhaskar. После этого можно объяснить суть противоречий между количественными и качественными исследованиями. Поскольку провести такую демаркационную линию не всегда просто, следует проанализировать взгляды по этому вопросу от Конта и Милля как их ярких представителей французского позитивизма и британского эмпиризма, немецкого неокантианства (Виндельбанда и Риккерта) и неогегельянства

(Дильтея) до М. Вебера. Отдельное внимание стоит уделить польскому социологу Флориану Знанецкому из-за оригинальности его «аналитической индукции» как метода каузального исследования.

Имея в виду эти исторические идеи, попытаемся аргументировать тезис, что размышления о причинности в количественных и качественных исследованиях основаны на одной и той же «экспериментальной логике». Это достигается несколькими способами. «Контрфактическое предположение» в INUS-модели Джона Макки сравнивается с «методом установления различий» Дж. С. Милля.

Та же логика обнаруживается и в исследованиях, которые определяются как качественные в стратифицированной случайной выборке из крупномасштабных количественных обзоров. На основе работы Лео Апостела и его анализа понятия «производство» рассмотрим наш вопрос в философской перспективе. Апостел отталкивается от базовой схемы R-O (Relationship-Order, Отношение-Порядок) и интерпретирует фактор причинности как привилегированный элемент контекста. Научное исследование этого контекста помогает нам провести обоснованное кейс-исследование «производства». INUS-анализ Дж. Макки – особый случай. Другими примерами такого изучения контекста могут быть осуществление случайной выборки (рандомизация) и использование контрольной группы в экспериментальном исследовании. В качественных исследованиях герменевтика В. Дильтея и аналитическая индукция Ф. Знанецкого также могут быть примерами R-O реализации, как ее интерпретирует Апостел. Важно понимать, что контекст привилегированного фактора содержит не только состоявшиеся возможности, но также и те, которые не осуществились вообще, либо осуществились иначе, либо в каких-то других условиях.

Рассмотрев тезис об отсутствии принципиальных отличий между каузальностью в количественных и качественных исследованиях, совершим экскурс в недавнюю литературу, в первую очередь, в область политической науки и обнаружим, что тезис о единстве в разнообразии подтверждается и здесь, поскольку все новые предложения по-прежнему основываются на упомянутых позициях, хотя и в иной терминологии.

Два экстремума располагаются друг против друга: с одной стороны, крупномасштабный обзор в котором числовые характеристики помещены в матрицу данных, а вопрос о причинности затемнен; с другой – каузальный case-study, исследование одного «кейса» за другим. Эта последняя задача трудновыполнима, т. к. требует трудоемкого наблюдения, хотя более предпочтительна и согласуется с самыми разработанными теориями причинности, с INUS-каузальностью (в центр которой помещена индивидуальная последовательность) и с каузальным реализмом, делающим упор на механизм причинных взаимосвязей.

**Нелинейная динамика историко-политических ситуаций  
и процессов: синергетический анализ**

Синергетический подход к анализу неустойчивых исторических процессов вызвал немало дискуссий, касающихся в основном возможностей использования концепций и методов синергетики в исследовании динамики социума. Однако реальный ход социальных и политических процессов последних десятилетий предоставляет всё больше материала в пользу сторонников синергетической парадигмы: практически все исследователи, анализировавшие социально-экономическую ситуацию и политические процессы в России конца 1980–1990-х гг., приходили к заключению о том, что в эти годы российское общество находилось в состоянии неустойчивого развития, пребывая в зоне бифуркаций.

В этом контексте старый вопрос о роли личности в ходе радикальных политических перемен получает в синергетике логичное разрешение. Так, Ю. М. Лотман различал два класса ситуаций: «Можно сказать, что в тех сферах истории, где люди играют роль “частиц крупного размера”, включенных в броуновское движение гигантских сверхличностных процессов, законы причинности предстают в своих простых, можно сказать, механических формах. Там же, где история предстает как множество альтернатив, выбор между которыми осуществляется интеллектуальной и волевой силой человека, необходимы поиски новых и более сложных форм причинности». Обсуждая проблему выбора альтернатив, Лотман пишет о возрастании «удельного веса моментов исторических флуктуаций, т. е. ситуаций, в которых дальнейшая судьба системы будет зависеть от случайных факторов и от сознательного выбора» [Лотман Ю. М. Клио на распутье // Избранные статьи. Таллинн, 1992-1993. Т. I. С. 479].

Об этом же пишет И. Пригожин: «История человечества не сводится к основополагающим закономерностям или к простой констатации событий. Каждый историк знает, что изучение исключительной роли отдельных личностей предполагает анализ социальных и исторических механизмов, сделавших эту роль возможной. Знает историк и то, что без существования данных личностей те же механизмы могли бы породить другую историю» [Пригожин И., Стенгерс И. *Время, хаос, квант*. М., 1994. С. 54–55]. Размышляя о «конце Определенности», Пригожин отмечает, что в сложной неустойчивой системе флуктуации на микроуровне ответственны за выбор той ветви развития, которая возникнет после точки бифуркации. Интересно, что в качестве иллюстрации этого положения И. Пригожин приводит события 1917 г. в России.

Развитие таких сложных систем как страны и их объединения имеет нелинейный характер, оно сопровождается резкими трансформа-

циями, в процессе которых возникает хаотизация, формируются новые структуры («новый порядок»). Нелинейная динамика этих процессов означает, что возможности централизованного управления ими, прогнозирования и контроля имеют свои ограничения. Ряд исследователей видят главную причину глобальной неустойчивости в формировании однополярного мира. Они говорят о «силах хаоса», стратегии «управляемых кризисов», стратегии «управленческого хаоса» [Панарин А. С.. Стратегическая нестабильность XXI века // <http://www.patriotica.ru/actual/panarstrategy.html>].

Хаотизация политического процесса может привести к реализации маловероятного варианта в силу сложившихся конкретных обстоятельств, роли отдельных личностей, случайных факторов. Здесь важно, однако, понимать, что речь идет именно о *потенциально возможных* вариантах развития процесса, а не о *всех мыслимых* вариантах, в том числе невероятных. Так, летом 1991 г. вариант распада СССР и последующих геополитических изменений казался практически всем аналитикам (и внутри страны, и за ее пределами) весьма маловероятным – выстраивалась новая модель федеративного устройства страны; но августовские события подтолкнули неустойчивую ситуацию в стране именно к этому маловероятному варианту. Последние годы дали нам целый ряд примеров, когда рост политической и/или экономической нестабильности в той или иной бывшей республике СССР создавал возможности реализации сценариев смены власти, казавшихся маловероятными еще незадолго до последовавших затем событий.

Итак, выбор дальнейшей траектории в точке бифуркации системы (в состоянии хаоса) может происходить не в силу неких «закономерностей»; переход к одному из аттракторов (вариантов развития) может произойти в результате флуктуации. Подчеркнем, что эти аттракторы уже сформировались к моменту бифуркации, альтернативные сценарии будущего развития уже «заложены». Существуют ли методы «диагностики» грядущей бифуркации? В принципе – да. Разработаны математические методы такой диагностики. Качественно хаотизацию процесса (приближение точки бифуркации) характеризуют систематические наблюдения за политической ситуацией, приводящие к выводу о растущей неустойчивости процесса в стране (или регионе мира). Появление серии резких изменений в этой ситуации без существенных воздействий – один из явных индикаторов движения к бифуркации.

Всегда ли хаотизация политического процесса и переход к точке бифуркации должны рассматриваться в негативном контексте? Думается, не всегда. Есть примеры застарелых тлеющих международных (или двусторонних) конфликтов, разрешение которых кажется бесперспективной задачей. Однако нарастание неустойчивости конфликта может привести к тому, что случайное событие – например, кончина одного из лидеров может привести к лавинообразному процессу изменений, кото-

рые радикально изменят ситуацию к лучшему. Этот вариант развития может относиться и к смене одиозного режима.

Таким образом, можно говорить о смене парадигмы в исследованиях социально-политических и международных процессов последних десятилетий. Нестабильная, неравновесная глобализирующаяся международная система уже не может анализироваться на основе только прежних «линейных» подходов; более глубокое понимание и прогнозирование этих процессов требует использования методов нелинейной динамики, учитывающих синергетические эффекты, открытые постнеклассической наукой последних десятилетий. В более общем плане использование концепций нелинейной динамики создает научный фундамент для изучения исторических альтернатив, критических ситуаций, революций, радикальных реформ, переходных периодов.

*Рольф Торстендаль* (Швеция)

### **Возвращение историзма? Неинституционализм и исторический поворот общественных наук**

Институционализм (или то, что также называют нео-институционализмом) был предложен лауреатом Нобелевской премии Дугласом К. Нортом и оказался реакцией на антиисторический подход экономики и других общественных наук к миру. Программа институционализма подразумевала, помимо прочего, то, что ученые начали говорить о культуре институтов. Это понятие – институты – используется как общий термин, применимый к любым социальным общностям – государствам, правительствам, военным подразделениям, городам, госпиталям, университетам, добровольным организациям, компаниям и т. п. Главы подобных институтов не могли решить, что делать и куда двигаться дальше, потому что были связаны историческим опытом своих организаций, поглощены идеей культуры.

Известное как «зависимость от избранного пути», это обращенное к прошлому течение в общественных науках доминирует не только в сфере занятий самого Норта (экономике с уклоном в историю экономики), но и в других дисциплинах (в частности, используется в социологии и политологии такими коллегами Норта как Джеймс Дж. Марч и Джоан П. Ольсен). Популярность этого течения способствовала появлению ряда высококвалифицированных исследований, но не решила всех серьезных проблем. Идея «зависимости от избранного пути» и особой «культуры», присущей любому поименованному выше институту, реализуется действующими при его посредстве мужчинами и женщинами. Важно, однако, отметить, что каждый индивид, как часть института, не является необходимым для сохранения культуры этого института. «Индивидуальность» (слово, которое институционалисты не

используют) института не зависит от присутствия / отсутствия отдельных сотрудников или начальников.

Данная мысль созвучна представлениям Леопольда фон Ранке, в частности достигающей полного развития в его трудах идее историзма (*Historismus*). Ранке считал важным то, что люди, государства и различные организации имеют свою историю и ценности и их не стоит рассматривать сквозь призму сиюминутных интересов отдельных людей, которые исполняют собственные роли. Все существующие социальные общности зависят от своего прошлого и, следовательно, должны, согласно данной теории, рассматриваться в историческом контексте. Историзм развивался в нескольких направлениях и воплощался в разных концепциях. Можно наблюдать как постепенно, от Эрнста Трёльча к Вильгельму Дильтею, нарастало представление об историчности (*Geschichtlichkeit*) человеческого существования, включая укорененность индивида в обществе. Это приводило их к философии ценностей, рассмотрение которой выходит за рамки данного сообщения.

Стоит задать вопрос о том, насколько допустима параллель между историзмом, с одной стороны, и новым институционализмом, с другой. Дуглас Норт пишет: «Прошлое связано с настоящим, а будущее есть объект зависимости от избранного пути – термин, который часто и порой неуместным образом используется. Он может означать не более чем то, что выборы, сделанные в настоящем, ограничиваются наследием институтов, полученных от прошлого. Но если бы зависимость от избранного пути заключалась только в этом, мы могли бы многое изменить радикально, когда решили бы, что институты плохо функционируют. Шаг к более полному пониманию термина заключается в признании того, что существующие институты спровоцировали появление организаций, выживание которых зависит от сохранения этих институтов. Они, соответственно, посвящают все свои ресурсы предотвращению любых изменений, угрожающих их существованию. Большая часть идеи зависимости от избранного пути может быть объяснена в данном контексте».

В данной цитате – язык которой сложен и порождает ряд проблем интерпретации (несмотря на то, что я вставил во фразу запятую, ограничивающую число возможностей) – следует обратить внимание на то, что в предложениях, где *институты* являются подлежащими, глаголы используются в активном залоге. Поэтому мое (спорное) объяснение последнего предложения состоит в том, что возникшие из институтов организации хотят предотвратить изменения, которые могут поставить под угрозу существование этих институтов в традиционных формах, и используют для этого все свои ресурсы.

Институционализм, имеющий много других аспектов, таким образом, приближается к историзму в трактовке роли «институтов». Вероятно, существуют различия в понимании того, какие социальные фено-

мены являются институтами, но находящиеся в центре внимания Норта «организации» дополняют картину институтов во многих отношениях, включая историзм. Языковые различия между двумя школами, в отношении которых проведено сравнение, чрезвычайно важны и порождают дальнейшие проблемы. Язык Норта – это язык современных общественных наук. Например, в рассуждении о возможностях изменений структуры института он пишет о «политическом рынке» и «стоимости перевода». Терминология Ранке тоже специфична. Подобные различия создают серьезные проблемы при сравнении этих двух школ.

Если институционализм слишком приближается к историзму, направленная против историзма критика, заставившая немецких историков оставить его, может быть обращена и против институционализма. Существуют ли принципиальные различия между двумя подходами, и каковы границы институционального подхода с исторической точки зрения?

*И. В. Крючков* (Ставропольский ГУ)

#### **«Методологический индивидуализм» Ф. Хайека и его противостояние историзму**

Представители австрийской экономической школы и ее последователи в XX в. заняли прочное место в современном гуманитарном знании. Среди них особое место занимает Ф. фон Хайек. Оригинальность его методологических подходов и концепции развития цивилизации получили всемирное признание, результатом которого стало присуждение ему в 1974 г. Нобелевской премии в области экономики. Однако интересы Ф. Хайека выходили далеко за пределы экономики. История, социология, политология, философия, лингвистика вызывали живой интерес ученого, поэтому он всегда проповедовал полидисциплинарность социальных наук и не признавал жестких предметных границ между ними. Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству», изданная в 1945 г., оказала огромное влияние на понимание современным обществом природы тоталитаризма. Это не полный список заслуг Ф. Хайека перед историей. Ученый внес значительный вклад в разработку проблем методологии социальных наук, в том числе истории.

Вслед за своим учителем К. Менгером, Ф. Хайек стоял на позициях «методологического индивидуализма», дальше развивая и совершенствуя данную концепцию. В центре внимания «методологического индивидуализма» находится индивид с его ожиданиями, предпочтениями и заблуждениями. Хайек отрицает наличие таких категорий как «класс», «нация», «партия», «общество», «революция», «капитализм» и т. д. в качестве объективной реальности, считая их мифами, созданными претенциозным разумом исследователей. В качестве объекта исследования истории и других гуманитарных наук выступают действия ин-

дивида и определяющие его поведение мотивы. Следовательно, индивидуальные действия и сознание являются объектом всех социальных наук, в том числе истории. Социальные институты, традиции, исторические события не являются самостоятельными факторами, формирующими цивилизацию. Они не имеют ни какого смысла, вне поведения индивида и его убеждений.

Следует подчеркнуть, что во второй половине XX в. «методологический индивидуализм» постепенно завоевывает большое количество сторонников среди представителей различных социальных наук. Дискуссии о методе Ф. Хайека и других представителей австрийской школы оказали значительное влияние на европейскую и североамериканскую историософию XX века. Начало этому процессу положил состоявшийся в 80-е гг. XIX в. знаменитый «спор о методе» К. Менгера с немецкой исторической школой. К. Менгер одним из первых пришел к выводу, что такие явления как деньги, рынок, язык, государство развиваются естественным (органическим) путем, а не вследствие реализации интеллектуальных конструкторов тех или иных высококолых индивидов или социальных групп.

Ф. Хайек подверг критике фундаментальные основы классической историософии, унаследованные от О. Конта и Г. В. Ф. Гегеля. Им отрицалось, во-первых, существование некоей стадильности развития человеческой цивилизации, движущейся в прогрессивном направлении; во-вторых, существование неких законов, определяющих развитие этих стадий и способствующих переходу человечества от низшей к высшей ступени развития. Эти законы в основном призваны были объяснять действие коллективного сознания. Отсюда возникала иллюзия и претензии историософии на то, что, поняв однажды данные законы, можно будет управлять и контролировать эволюцию человечества, в том числе с точки зрения прогнозирования его дальнейшего развития. Эта убежденность породила такие явления в политике и идеологии, как социализм, тоталитаризм и кейнсианство. Все попытки постижения развития человеческого разума, на взгляд Ф. Хайека, бесплодны и не имеют для социальных наук никакого смысла. Они, скорее, удел психологии, да и то в весьма ограниченных масштабах.

Ученый жестко критиковал моральный релятивизм, основанный на убежденности исследователей в том, что, используя исторический контекст, они смогут достоверно объяснить смыслы и мотивы поведения людей. В любом случае будет происходить наслоение современных представлений на объект исследования в историческом прошлом.

Хайек отрицал тотальный историзм. На его взгляд, развитие человеческой цивилизации определяют универсальные тенденции, присущие всем народам и временам. Так, в древнем Египте тоже существовали такие феномены как цена, деньги, монополии, и развивались они во многом на тех же принципах, что и в экономике США XX века. Разуме-

ется, Ф. Хайек не собирался отрицать воздействие исторического контекста, однако, по его мнению, тот не меняет кардинальным образом суть вышеотмеченных феноменов. Природа человечества за последние тысячелетия мало изменилась, и удовлетворение насущных потребностей по-прежнему является основным, определяющим поведение человека мотивом. Конечно, эти потребности постепенно меняются, но они традиционно касаются еды, одежды, жилища, досуга, секса. И в древнем Египте, и в современной России человеку с некоторой поправкой необходимо одно и то же.

Поэтому, по мнению Ф. Хайека, историки должны сосредоточиться не на создании глобальной истории, основанной на действии законов коллективного разума, а на изучении человеческих усилий, направленных на создание цивилизации, поведении отдельного индивида и того, как это поведение вносит посильный вклад в развитии цивилизации. Глобальная история невозможна, ибо цивилизация в своей основе развивается под воздействием стихийных и бессознательных процессов, которые коллективный разум не способен охватить и контролировать. Он может только на время исказить естественный процесс эволюции человечества, но естественный ход событий все равно возьмет свое, о чем, в частности, свидетельствует крушение коммунизма и других теорий, проповедующих торжество разума и тотальный контроль. Познания современной науки остаются частичными и ограниченными, а также опровергаемыми последующими поколениями исследователей.

*М. А. Юсим* (Институт всеобщей истории РАН)

### **История, теория и экономика: марксизм, Ф. Бродель и Л. фон Мизес**

От позитивизма XIX в. историческое сознание унаследовало идею «научности», которую новации конца прошлого столетия (постмодернизм, лингвистический поворот, культурно-антропологические подходы) так и не смогли похоронить.

Научность, о которой здесь идет речь, предполагает наличие ряда признаков, сформировавшегося на заре Нового времени, в частности, в контексте так называемого рационализма. Это представление об объективной и доступной для всех разумных индивидов истине, о наличии фундаментальных закономерностей, направляющих развитие общества, о важности познания этих законов для прогнозирования этого развития и о значимости количественных методов в историческом описании.

Одним из главных воплощений указанных принципов стала теория исторического материализма, с которой должны были считаться гуманитарии не только в нашей стране, но и во всем мире. Специфику гуманитарного знания никто никогда не отрицал, в том числе и марксизм, и вместе с тем концепция «научности», заимствующая свои ос-

новые черты у естественных наук, оказала значительное влияние на теорию и методологию истории, продолжая оказывать его и сегодня.

Важная черта «научного» (кавычки в слове «научность») указывают только на специфичность его употребления в данном случае: как соотносимого с рядом схожих понятий: позитивизм, объективность, материализм, иногда даже просто «описательность») подхода к описанию общества и, в частности, его прошлого, заключается в том, что за основу в большинстве случаев берется рассмотрение глобальных, длительных, имеющих количественные характеристики процессов, одним словом, базовых процессов экономики. Актуальность экономических проблем, их теоретического осмысления и необходимой именно для такого осмысления историко-экономической базы очевидна. В то же время часто раздающиеся lamentации по поводу упадка и сокращения исследований по экономической истории следовало бы отнести, прежде всего, не к этой отрасли науки как таковой, а к их роли в рамках глобальной истории, истории в целом – если об истории можно говорить как о едином, детерминированном и в той или иной степени предсказуемом процессе.

В данном случае речь идет о подходах двух известных ученых XX века, историка Ф. Броделя и экономиста Л. фон Мизеса. Ни тот, ни другой не занимались созданием историко-методологических концепций специально, но оба оставили заметный след в этой области, причем их позиция вырабатывалась в соотношении с марксистской парадигмой. Бродель отрицал традиционную историю, ограничивающуюся регистрацией псевдо-значительных, преимущественно политических событий. На ее место он хотел поставить историю глубинных структур, длительных тенденций, улавливаемых с помощью анализа множества однородных фактов и количественных параметров развития. Именно внешние по отношению к отдельному человеку «принуждающие факторы» определяют направление истории, а не воля ее участников, пусть даже самых великих.

Идеи фон Мизеса возникают как реакция на экономический позитивизм (в частности, марксизм), на постулирование непреложных законов, позволяющих прогнозировать развитие экономики на основе вычислений и формул. Главный критический постулат фон Мизеса – тезис о целесообразности человеческой деятельности, о множественности определяющих ее ценностей, что делает поступки людей в конечном итоге непредсказуемыми. Сильная сторона его взглядов – отрицание «сциентизма», внимание к внутренним мотивам поведения людей – получила дальнейшее развитие в доктринах конца XX и начала XXI вв.

Выводы, к которым клонится проводимое сопоставление, заключаются, во-первых, в том, что декларируемое отрицание теоретической предвзятости все равно подразумевает выработку определенных методологических, если не идеологических принципов. Во-вторых, в том, что понимание любых исторических процессов и явлений недостижимо

без учета их субъективной составляющей, без анализа моделей действительности, культурного багажа, ценностей и целей, детерминирующих поступки как отдельных, так и коллективных индивидов. Это относится к экономике и к экономической истории, конечной целью которой, как и любой другой науки, является синтез, познание человека с его эмоциями и взглядами. Без последнего и анализ хозяйственных процессов оказывается неполным и неточным.

*В. А. Бачинин* (Социологический институт РАН)

**Поле исторической социологии.  
Альтернативные эпистемологические стратегии**

Историческая социология, как ответвление общей социологии, унаследовала от «родительницы» характерный дух позитивизма-секуляризма. На протяжении последних полутора столетий ранний, а затем зрелый модерн приучили историко-социологическое сознание к определенным формам ментальной деятельности, демонстративно игнорирующим проблемы трансцендентно-сакральной детерминации исторического процесса. Но, несмотря на очевидные заслуги тех, кто трудился и трудится в русле парадигмы академического секуляризма, хочется задать вопрос: а является ли секулярное направление самодостаточным? Можно ли говорить, что движение в его русле в полной мере удовлетворяет теоретические интересы тех, кто трудится на поприще исторической социологии?

Несомненно, подобные вопросы правомерны только при наличии некой альтернативной модели историко-социологического дискурса, которая имеет в своем содержании нечто, достойное внимания ученых. Следует сразу подчеркнуть, что такая модель действительно существует. Ее следовало бы даже назвать парадигмой, ибо ее древность, культурно-историческая устойчивость, значительность и влияние таковы, что она этого статуса вполне заслуживает. Речь идет о библейско-христианской парадигме, прописанной в первую очередь в исторических и пророческих книгах Ветхого Завета и позднее принявшей вид дескриптивно-аналитической традиции, маркированной третьим элементом известной триады «Афины-Рим-Иерусалим» и отчетливо представленной в классической и современной (преимущественно католическо-протестантской и частично православной) исторической теологии.

Если задаться вопросом о том, на какие религиозные основания опирается историческая социология, то большинство современных социологов с негодованием в голосе поспешат парировать: «Ни на какие! Поскольку она в них не нуждается!» Но тогда возникает еще один вопрос: «А на какие исторические основания опирается историческая социология?» Если секулярное историко-социологическое сознание огра-

ничит перечень своих социальных, культурологических, мировоззренческих, методологических и прочих предпосылок рамками последних полутора-двух столетий и поставит у собственного истока знаковую фигуру О. Конта, то будет вполне резонным возражение: а на какие культурно-исторические основания опирался в своем творчестве сам Конт? И здесь мы неизбежно должны будем вспомнить и про триаду «Афины-Рим-Иерусалим», и про библейско-христианскую духовную традицию, и про колоссальный интеллектуальный опыт, накопленный исторической теологией прошлых столетий, и про многое другое, составившее питательную почву, на которой произрос контовский «Курс позитивной философии», а затем и ветвистое древо всей западной социологии – политической, экономической, правовой, исторической и т. д. Но, спрашивается, куда делось все это вместе с памятью о нем? Почему современные специалисты по исторической социологии не склонны упоминать об этом интеллектуальном наследии, без которого сегодня не было бы многих дисциплин, в том числе социальной истории и исторической социологии? Что случилось с этим наследием? Нет, оно не погибло, не пропало и даже не пребывает втуне. Оно благополучно существует, но, увы, не для тех исторических социологов, которые работают в русле секулярной парадигмы. Для них его как бы нет. Но для мыслителей, работающих в иной ментальной плоскости, в ином мировоззренческом измерении, оно – реальнейшая из реалий. Это, прежде всего, те, кто в своих трудах позиционировали себя как «традиционалисты», «консерваторы» и «ретрограды». Среди них мы обнаружим Ф. М. Достоевского, Вл. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, Г. В. Флоровского, Г. П. Федотова, Е. В. Спекторского, П. Тиллиха, К. Шмитта, Ж. Маритэна, братьев Рейнхольда и Ричарда Нибуров, К. Барта и многих других. Следует признать, что этих мыслителей, философов, теологов, писателей, несмотря на их «религиозные предрассудки», отличают такие черты, как ярко выраженный социальный темперамент, отчетливая социологическая ориентированность их исторического сознания и всего строя аналитического мышления. О том, что они совершили на познавательном поприще, о принадлежащих им трудах нельзя сказать, что это неизвестная историческая социология. Нет, она широко известна и пользуется не меньшим признанием, чем ее секулярная сестра. Но, увы, в тех ученых кругах, где господствует академический секуляризм, она не то, чтобы подвергается дискриминации, о ней нередко просто забывают упоминать.

Обозначим важнейшую особенность дискурса *контрсекулярной исторической социологии* (позволим себе такое ее обозначение, за неимением лучшего). Это, прежде всего, то, что статусом главной, определяющей детерминанты всех макросоциальных изменений в истории общества наделяется трансцендентный сверхсубъект – Бог, распоряжающийся бесчисленным множеством антропосоциальных механизмов

и воздействующий посредством их на общественно-историческую динамику. Базовый прецедент такой позиции представлен, как уже отмечалось, в исторических и пророческих книгах Ветхого Завета. Секулярная социология (общая и историческая) элиминировала Бога из своего дискурса, и в результате социум превратился из медиатора между Богом и человека в первичную данность. Это дало основание некоторым современным социологам (Р. Коллинз) заявлять, что общество – это фактически и есть Бог, правящий всеми людьми и имеющий над ними абсолютную и безраздельную власть. Таким образом, обнаружилась возможность рассматривать секулярную историческую социологию как результат мировоззренческой редукции и одновременно методологической подстановки, когда на месте Бога оказался социум, наделенный многими из тех качеств, которые присущи Богу.

В контрсекулярную эпистемологическую стратегию историко-социологического анализа включается религиозно-теологическая составляющая во всей полноте ее методологических ресурсов. Для того чтобы воспринимать ее толерантно и конструктивно, социологам не следует держаться за атеистические предрассудки эпохи модерна. В противном случае позиция апостасии (религиозного отступничества) заблокирует плодотворную аналитическую интенцию, обещающую историко-социологическому сознанию весьма нетривиальные результаты познавательных усилий.

*А. Ю. Проконьев (СПбГУ)*

#### **«Отто Бруннер (1898–1982) и рождение социальной истории в австро-немецкой историографии»**

Состояние современных социальных исследований, касающихся раннего Нового времени, все чаще требует ретроспекций, обращенных к истокам. Символично звучат имена В. Конце и Г. Остриха, родоначальника т. н. «Берлинской школы», заложившей основы изучения неформальных институтов сословного общества. При этом имя Отто Бруннера вызывает решительно неоднозначную оценку. Прославленный историк родился в Австрии, чтобы увлечься средневековым прошлым в Вене, где в 1939 г. будет завершен главный и самый революционный из его трудов. Членство с 1943 г. в нацистской партии открыло ему путь к вершинам академической карьеры, он стал директором Института австрийских исторических исследований, но в период денацификации поплатился лишением всех своих постов. В 1954 г. Бруннер перебрался в Германию, где гамбургский «alma mater» приютил его вплоть до кончины в 1982 г. Чтобы понять причины изломов его судьбы, необходимо увидеть начало становления будущего специалиста.

Позиции австрийской историографии еще в эпоху Дуализма отличались от германских традиций большим эклектизмом, склонностью к синтезу, в более широком аспекте – оппозиционностью слишком жесткому государственно-правовому монолиту германских коллег. Конечно, здесь можно видеть следы католических симпатий, извечного противостояния «великогерманского» и «малогерманского» путей. В эпоху Первой республики и первых послевоенных лет это вылилось в терпимость к альтернативам «политической» истории, к новым опытам тщательного и взвешенного прочтения источников, к попыткам социально-культурного синтеза. Именно в эти годы молодой Бруннер подпадает под обаяние своего первого крупного наставника – О. Редлиха, успешно занимавшегося «классическим» средневековьем, эпохой Рудольфа I Габсбурга. От учителя он перенял опыт кропотливого изучения источников, любовь к работе в венских архивах. В 1931 г., защитив докторскую диссертацию и став экстраординарным профессором, Бруннер задумывает идею большой книги, призванной синтезировать социальный подход на основе критики источников. В 1939 г. она будет опубликована под названием «Страна и власть».

Формально сосредоточенное на австрийском материале позднего средневековья, исследование взрывало традиционные рамки. Возникли разрыв с традицией Белова, олицетворявшей лучшие достижения немецкой политико-государственной школы рубежа веков, и гиперкритика терминологического аппарата, устоявшегося со времен Просвещения. Бруннер показал, как опасны для исторического познания современные терминологические ретроспекции в область средневекового прошлого. Он считал, что правильное представление социального быта прошлого требует погружения отдельных сторон его в духовную ауру эпохи, видения целого, а не субсистемных частных, что характерно для позитивизма или политико-экономического структурализма. Историк Нового времени мешает метод, который превращает любое прошлое в неизбежную, подчас фантастически близкую предтечу настоящего. Именно здесь таилась, по мысли Бруннера, роковая ошибка. Следствием ее становилась резко искаженная картина, «адаптированная» современному пониманию. Не было «представительства» в старой, сословной Австрии – была совокупность земских чинов, связанная узами единства социального и религиозного быта и являвшая «страну» в смысле этого единства. Не было «политики» и «экономики» в наследственных землях Австрийского Дома – были нерасчлененные формы повседневности, коренившиеся в общественной традиции столетий.

Именно эти тезисы – выхваченные из контекста – были подхвачены и использованы нацистами в период «Аншлюса»: крупный историк убедительно «противопоставляет» дух «единого народа» либеральной «множественности» парламентской республики. Реально же за книгой Бруннера стояло желание увидеть в истории прошлое, истолкованное в его собственных категориях.

Последующие работы Бруннера лишь развивали его тезисы. Их условно можно свести в два блока: один представлен отдельной книгой «Сельская жизнь дворянина и европейский дух» (Зальцбург, 1949 г.), другой – совокупностью статей, изданных в виде сборника первым изданием в 1956 г. под общим заглавием «Новые пути социальной истории». Первой книгой, формально посвященной творчеству и жизни известного публициста XVII в. Вольфа Хельмгарда фон Хохберга, Бруннер открыл дорогу социокультурному анализу сословной элиты в раннее Новое время, сформулировав ряд принципиальных положений, которые, с его точки зрения, формировали преемственность в общественной жизни дворянства Европы на протяжении двух тысячелетий, вплоть до индустриальной революции XIX в. В статьях же акцент сделан на осмыслении внутреннего единства сословного быта, сформулирована категория «целого Дома», как социально-культурного пространства, в котором невозможно выделить субсистемные основы.

Отход от жестких «государственных» ориентиров был не всегда последователен и, конечно, проглядывала ностальгия по исчезнувшему миру гармонии доиндустриального Запада. Но сдвиг оказался огромен: Бруннер своими исследованиями спровоцировал постановку проблемы немецкого дворянства как социального фактора прошлого, в широком смысле – новое прочтение общественного быта сословий, он осмелился атаковать хронологию, наконец. «Старая Европа» как категория, как хронологическая и социальная величина, представленная на страницах его работ, была призвана сгладить границы переходных периодов и подчеркнуть континуитет в социокультурном развитии от конца античного мира. Без Бруннера и его работ трудно представить не только современную «социально-ориентированную» немецкую историографию, но и школу «ревизионистов» во главе с Ф. Прессом и П. Моравом, отважившимися в последние десятилетия пересмотреть историю и структуры Старой Империи XV–XVIII вв.

*М. М. Горелов* (Институт всеобщей истории РАН)

### **Политическая история в XXI в. Кризис или возрождение?**

Политическая история являлась стержнем исторической науки на протяжении веков, начиная с простейших форм историописания. В соответствии с развитием различных религиозных и философских концепций менялись подходы – от чисто нарративного к более аналитическим и разносторонним. Но сам факт первостепенной важности политической истории не ставился под сомнение вплоть до XX в., когда она была отгеснена на задний план социально-экономическими, правовыми, культурологическими исследованиями. Этот процесс был обусловлен популярностью новых философских учений и научных концепций – марксизма, неокантианства, культурной антропологии школы «Анналов», структурализма и т. д.

Хотя еще основатели школы «Анналов» поспешно объявили традиционную политическую историю «трупом», окончательный удар ей нанес «лингвистический поворот» последних десятилетий XX в., радикально принуждающий «традиционного» историка к использованию филологических и культурологических методов. Постмодернистская парадигма, исходя из идеи невозможности познать прошлое, «затемненное» для историка субъективными интерпретациями авторов исторических источников, фактически проповедует агностицизм, из-за чего само существование исторической науки может показаться неоправданным. Вполне логично, что эта парадигма выдвинула на первый план исследование субъективной природы ментальности автора или интерпретатора источника, пытаясь увязать в единый комплекс методы и подходы из области филологии, психологии, лингвистики, культурологии, облекая их в рамки междисциплинарного подхода. Это вполне очевидно отражается и в широком понятии «социальных наук», объединяющем различные дисциплины, объектом изучения которых является человек в его отношениях с обществом.

Несомненно, в подобном подходе имеются свои плюсы – в частности, обогащение исторических исследований методами других дисциплин. Однако нельзя не отметить и очевидные минусы. Первый – это «техническая» сложность для историка, неизбежно возникающая из необходимости овладения методами других, подчас весьма далеких от истории дисциплин. Если для античного или средневекового ученого – «философа» в широком понимании, не говоря уж о жрецах архаичных обществ – было возможным комплексное владение практически всеми известными тогда знаниями в силу их относительной скудости и простоты, то применительно к современной науке с ее крайней специализацией, «раздробленностью» на предельно узкие дисциплины и направления, это вряд ли возможно. Сама узкоспециализированная структура высшего образования, что прямо обусловлено характером современной науки, делает историка своим заложником, отнюдь не способствуя «междисциплинарности» его научного мировосприятия. Процесс все более узкой специализации знаний и исследований прямо противоречит междисциплинарности, они имеют разнонаправленные векторы.

Второй негативный аспект лежит в плоскости философско-теоретической, затрагивая базисные стороны ментальности самого историка, оказавшегося перед лицом упомянутых выше новшеств. Разрушение старой позитивистской парадигмы (в т. ч. ее продолжения в виде марксизма), начатое неокантианцами и доведенное до логического конца постмодернистами, породило больше когнитивных проблем, чем ясных рецептов дальнейшего пути развития истории как науки. Тезис о предельном субъективизме источников и, отсюда, принципиальной непознаваемости прошлого, рассмотрение реалий прошлого и настоящего через филолого-культурологические категории «текста», «мифа»

и т. п. – все это фактически ведет к подмене собственно исторического знания (т. е. знания о реальных событиях, связях и процессах в человеческом обществе прошлых времен) исследованиями индивида с его языком, ментальностью, психологией и воззрениями. Это, безусловно, немаловажные аспекты, изучение которых историками можно только приветствовать, но речь в данном случае идет о том, что эти исследования, по сути, **заменяют** собой историю. Между тем, в отличие от гуманитарной науки XIX–XX вв., они не дают связных теоретических концепций осмысления прошлого. В итоге современное историческое знание становится совокупностью изолированных фрагментов, мало связанных между собой, в рамках которых изолированные группы ученых исследуют крайне узкие темы, избегая теоретических обобщений и построения базисных общеполитических концепций. Поневоле напрашивается вывод о регрессе истории как науки, который можно сравнить, например, с деиндустриализацией и переходом от крупных промышленных предприятий к средневековым ремесленным мастерским.

Надо отметить, что этот процесс вплоть до недавнего времени мало затрагивал отечественную историческую науку, сохранявшую под жестким панцирем официальной советской идеологии базисные концепции прошлых эпох – прежде всего позитивизм в марксистской оболочке, с его ясными и четкими принципами познания на основе рационализма и веры в линейный прогресс человеческого общества. На мой взгляд, возрождение политической истории, как и истории вообще, в качестве цельной науки со своими методами, в противовес «ремесленничеству», вполне может опираться и на этот фактор, и на опыт неевропейских традиций историописания, все более доступный с ростом глобализации. Ренессанс политической истории в последние десятилетия доказывает ее жизнеспособность. Например, в Китае историю страны школьники до сих пор изучают по средневековым жизнеописаниям императоров, сочетая таким образом традиции и современность. На возможный упрек о том, что китайский опыт демонстрирует чересчур большую идеологическую ангажированность истории, хочется возразить, что история, как и гуманитарная наука вообще, всегда была идеологически ангажированной, и представить себе обратное вряд ли возможно. Вопрос – в степени этой ангажированности. В любом случае, это меньшее зло, чем беспомощная рефлексия, «ментальное рассеяние» на узкопрофильные темы при отсутствии целостного теоретико-мировоззренческого фундамента. Таким образом, возрождение политической истории следует рассматривать и как использование достижений междисциплинарного подхода, и как заимствование лучших традиций историографии XIX–XX вв. Не надо бояться выработки общеполитических концепций на базе обновления старых.

### История религий как история

1. Еще в глубокой древности появились первые труды, в которых описывались и сравнивались религиозные верования разных племен и народов; это, прежде всего, сочинения Геродота, Диодора Сицилийского, Плутарха, Лукиана. Крестовые походы приблизили христианскую Европу, в которой религия воспринималась как *ordo ad Deum*, к миру иных религий, и уже в эпоху Возрождения итальянские гуманисты вслед за арабскими философами стали сравнивать их с христианством. Колоссальный толчок для развития культурно-исторических сравнений в области религии дала эпоха Великих географических открытий.

История религии, как вид межкультурного сравнения конституирующих элементов религиозной веры и практики, возникает в XVIII в. Первым исследованием нового типа стал труд «Религиозные обряды и церемонии всех народов мира» (Париж, 1723).

2. Становление истории религии как науки связано с возникновением сравнительного языкознания, а также с развитием сравнительно-исторической методологии в этнокультурных исследованиях и социологии. В конце XVIII в. под влиянием сочинения Гердера «Идеи к философии истории человечества» формируется представление о единстве человечества и о самостоятельной ценности каждой отдельной культуры, в европейском обществе усиливается интерес к национальным традициям и особенностям отдельных народов, что способствует исследованию нравов, обычаев и религиозных практик.

3. К началу XX в. стало ясно, что изучение истории религии требует осмысления следующих теоретических проблем: является ли история религии наукой, рассматривающей все религии, включая первобытную, или она должно ограничиваться т. н. «историческими религиями», имеющими письменную традицию; возможна ли история религии как история религий цивилизаций, рассматривающая религию как один из важнейших культуuroобразующих факторов, обуславливающих замкнутость культур; возможна ли постановка проблемы становления веры в Бога и формирования идеи Бога в контексте всеобщего линейно-поступательного развития.

4. Многие исследователи XIX и XX вв. (как, и некоторые современные), изучающие историю религии как историю всех религий, в том числе и бесписьменных народов, часто используют немецкий эквивалент *Religionswissenschaft* для наименования своих изысканий, противопоставляя их традиции *Religionsgeschichte*, т. е. тем исследованиям, в которых изучаются только, т. н. «высшие религии» или религии народов, имевших письменность.

Научные исследования в области религии в СССР именовались, по преимуществу, «историей религии», а с 70-х гг. XX в. в академической практике в нашей стране стало использоваться понятие «религиоведение», воспринимаемое как калька с английского *Religious Studies*.

5. В начале XX в. история религии обогащается герменевтической методологией. Методы иудео-христианской экзегезы последователями *Religionsgeschichtliche Schule* были перенесены на другие религиозные традиции и стали использоваться при анализе разнообразных материалов. Особенно эта герменевтическая линия в истории религии была развита И. Вахом и М. Элиаде после второй мировой войны.

В 60-е гг. Дж. Китагава указывал на необходимость отделять изучение отдельных религий от истории религии, т. к. последняя в объективном смысле означает изучение природы и структуры религиозного опыта всего человечества в целом. Ж. Дюмезиль писал о значении историко-компаративного метода и отмечал ценность типологических сравнений, позволяющих вычленил постоянные и переменные мифологического мышления и религиозного сознания. Возглавлявший в середине 70-х гг. Ассоциацию историков религии У. Бьянки считал, что существуют три основания истории религии: исторические типологии, которые являются более содержательными, чем «идеальные типы»; сравнительный анализ, позволяющий использовать метод аналогии; концепция единства и многообразия религиозных феноменов.

6. К концу XX в. изучение истории религии способствовало возникновению концепции, что каждая из религий мира является уникальной, придает смысл человеческому существованию, дает свой ответ на экзистенциальные вопросы, а все они имеют общие черты, характеризующие человека как *homo religiosus*, и поэтому на смену «истории религии» пришло понятие «история религий».

История религий анализирует причины возникновения, становления и развития религий в контексте их взаимодействия с различными социально-политическими процессами. Она избегает оценочных, идеологических, апологетических или критических суждений, рассматривая религию как культурно-исторический феномен и предполагая изучение религиозных верований во всем их многообразии, признавая различные религии важным компонентом единой культуры человечества.

Современное состояние гуманитарных наук, связанное с отсутствием метатеорий, сказывается на развитии науки о религии, и приводит к тому, что одни исследователи пытаются в качестве фундаментальной методологической базы использовать философию религии, другие опираются на теологию, третьи используют новые подходы и методологические принципы непосредственно исторической науки. В ходу так называемые теории среднего уровня, и если в социологии, антропологии и психологии религии в целом сохраняется позитивистская парадигма, то в истории религии явно преобладает описательная методология.

7. Современная история религий преодолевает определенную методологическую ограниченность. Исследования опираются не только на письменные источники, с которыми традиционно работала история религии. Используются антропологические приемы для выявления различных модальностей священного и его символов, определенных, с одной стороны, когнитивными возможностями человека и глубинными мыслительными конструкциями, а с другой – явлениями природы. Дальнейшее развитие истории религии, несомненно, будет связано с более широким применением новых подходов в изучении религиозного сознания, в т. ч. с использованием методологии когнитивных наук.

*Каролина Полясик-Вжосек (Польша)*

### **Микроистория как часть исторической антропологии**

Довольно распространено мнение, что микронарратив возник на периферии процесса критики так называемых больших (мета) нарративов с их общими понятиями (среди прочих: народ, родина, свобода и т. п.) и теоретическими схемами.

Теоретические основы его понимания мы можем искать, с одной стороны у Лиотара (так называемые «малые повествования»), Левинаса (интерес к «секретному измерению действительности») или Леви («микроистория означает не разглядывание мелочей, а рассмотрение в подробностях»), делающих упор на его оригинальную нарративную форму, а с другой – у тех историков, которые сконцентрировали свое внимание на том, чтобы сделать микроисторию инструментом для репрезентации минувшего мира, до сих пор не представленного на страницах классической исторической литературы по причине своей «неважности», обычности, посредственности. Достаточно вспомнить Джорджа Р. Стюарта и его просто «микроскопическую» страсть к раскрытию мельчайших подробностей, Луиса Гонсалеса, ищущего, кроме всего прочего, связи микроистории с *локальной историей*, или самого Карло Гинзбурга, который, сотрудничая с Симоной Черутти, заложил основы для развития итальянской микроисторической школы.

Одно из самых интересных, по нашему мнению, определений микроисторического обзора минувшей реальности предлагает Ханс Медик: «Микроистория – это сестра истории повседневности, но в некоторых вопросах она идет своим путем: а именно: когда вырабатывает собственные методы, когда, следуя своим методическим посылкам, пересматривает и реконструирует категории классической социальной истории, когда ратует за полифоническое многообразие перспектив и способов изложения» [H. Medick. *Mikrohistoria // Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria*, Warszawa, 1996. S. 59–60].

Если добавить, что микроисторические исследования стали частью антропологизированной истории и нашли там основы для дальнейшего развития (по крайней мере, в исторической антропологии), то станет ясно, почему главными героями моих рассуждений являются историки школы «Анналов», положившие начало этому процессу.

Микроистория является для меня предлогом для разговора, среди прочего, о новом видении истории, в котором найдется место для до недавнего времени «молчавших» героев прошлого, где предметом рассмотрения становится повседневность, частная жизнь, ментальность, где, наконец, масштаб исторического рассмотрения уменьшается, как в историческом плане, так и в событийном.

В связи с этим мы собираемся представить авторские микроисторические проекты, сосредотачиваясь, прежде всего, на работах двух первопроходцев и одновременно классиках этого течения, а именно Э. Ле Руа Ладюри и К. Гинзбурга.

«Монтайу, деревня еретиков 1294–1324» (Монтайу, провансальская деревня), принадлежащая перу первого из них, является совершенно оригинальной монографией о пиренейской деревне, описанием ее быта, ментальности, занятий, повседневной жизни ее населения. Закрытый, как будто в миниатюре, мир окситанского (провансальского) общества является исходным пунктом для более развернутых рассуждений. Как пишет автор, «философия Монтайу подтверждает – и, впрочем, не одна – что микрокосмос, иначе говоря, человек и его *domus* составляет часть макрокосмоса, в центре которого разместился, разумеется, *ostal*» [E. Le Roy Ladurie. Montailou, wioska heretyków 1294–1324, Warszawa, 1988. S. 352].

Так же обстоит дело и с книгой Гинзбурга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке». В данном случае ограничение предмета исследования одним человеком, специфическим *индивидуумом*, может показаться помехой или упрощением, но это лишь видимость. Оно позволяет, разумеется, в меру пригодности источника, заметить, «что в том, что индивидуально, – как считает Вольфганг Хартвиг, – можно отразить всеобщность в миниатюре [...] Человек тоже исследуется – это второй из вариантов – как пример или представитель группы; хотя бы так, как в книге «Крестьяне Лангедока» (*Les paysans de Languedoc*) Ле Руа Ладюри, который обобщает описание жизненного пути двух крестьянских сыновей, Совера Тексье и Пьера Саллажье, следующим образом: «За фигурами обоих мужчин виднеются обе социальные группы, оба стиля жизни, оба фасада». И, наконец, – третий вариант – можно открыть то, что будет общим, нормальным в будущем с помощью того, что выделяется, выходит за рамки в прошлом – «по вине человека, который неожиданно проявляется, бросается в глаза, как мельник Меноккио Карло Гинзбурга или Мартен Герр и его жена у Натали Земон Дэвис. [...] Конфликты людей, имеющих необычную судьбу,

с общественным окружением, в котором отражается структура власти, являются пунктом, позволяющим охватить взглядом совокупность локальной общины с ее надлокальными отношениями» [W. Hartwig. *Historia codzienności dzisiaj. Bilans krytyczny // Historia społeczna...* S. 32–33].

И точно так же, макромир, заключенный в микромире Меноккио, позволяет Гинзбургу рассуждать о столкновении народной культуры с культурой ученой, о вопросах репрезентативности случая мельника из Фриули для народной культуры, или, наконец, об оппозиции «специфическое» и «общее».

Другой пример – специфический случай «Королей-чудотворцев». Большинство историков готово признать книгу Марка Блока новаторским шедевром антропологической литературы, некоторые склонны присоединиться к предложению Ж. Ле Гоффа и считать ее зачатком политической антропологии, но, наверное, только немногие согласятся трактовать ее как новаторскую и для микроистории.

*О. С. Поршнева* (Уральский ГУ)

### **Антропологические концепции культуры и история**

Значимый вклад в развитие междисциплинарной методологии исторического знания был внесен разработкой антропологами концепции культуры в различных ее модификациях. Влияние антропологических теорий, сердцевиной которых является концепция культуры, на историческую эпистемологию обусловлено распространением в современной историографии представлений о культурной природе всех общественных отношений. Важнейшими факторами интеграции стали антропологический поворот в историческом знании и исторический поворот в социальных науках. Близость истории и этнологии, имеющих общий объект, при различии предмета каждой из них, определяется и тем обстоятельством, что обе имеют дело с «иным» человеком и обществом.

Одним из последовательных сторонников сближения этнологии и истории был американский антрополог Франц Боас. Он считал этнологию (антропологию) разновидностью исторических исследований, использующих иные, нежели история, методы, но ставящую ту же цель «реконструкции истории». Концептуальное влияние антропологии на развитие исторической эпистемологии оказала структурная антропология, основание которой заложил Клод Леви-Стросс. Предложенный им метод структурного анализа стал широко применяться в исторических исследованиях, прежде всего, в рамках Школы «Анналов». Помимо акцента на институциональных и структурных отношениях, характерной чертой подхода К. Леви-Стросса было то, что он рассматривал антропологию как науку семиотическую, поскольку культура любого общества продуцирует символы, формирующие и закрепляющие культурные смыслы и значения.

Другое продуктивное направление в антропологии тесно связано с интерпретативной школой в гуманитарных исследованиях. Ее представители признают, что междисциплинарные (надличностные) значения присутствуют не только в головах людей, но выражаются также в их коллективных практиках и социально обусловленных акциях. «Интерпретативный поворот» в антропологии включал идею о том, что при обычном лингвистическом анализе и критике текста значения ускользают, поэтому интерпретатор должен связать текст с другими текстами и его собственным контекстом и прочесть символы путем выведения их из той культуры, внутри которой они возникли. Историк в своей исследовательской практике может использовать методы анализа текстов, выработанные в рамках интерпретативного направления антропологии. К ним могут быть отнесены филологический анализ терминологии; лингвистический и грамматический анализ с применением знаний в области синтаксиса и семантики языка, на котором написан текст; тропологический анализ, который способствует определению риторических приемов, используемых автором. Важнейшей составляющей данного анализа является определение моделей мышления и форм аргументации, присутствующих в тексте; выявление типа мировосприятия и культурных предпочтений, на которых базируется текст. Социокультурный уровень интерпретации требует от исследователя принимать во внимание те свойства и принципы, которые являются существенными для понимания изучаемой культуры, главным образом, системы верований и ментальных структур. Чтобы преодолеть изначальную многозначность текста, интерпретатор должен овладеть культурными послылками, определяющими связь всех текстов, порожденных данной культурой.

Более радикальный лингвистический поворот в антропологии, произошедший в последние десятилетия, связан с пониманием культуры как текста. Задача исследователя в данной ситуации – перевод скрытого смысла одного дискурса на язык другого. Интерпретация культуры в рамках этого подхода предполагает «текстуализацию» опыта. В противовес позитивистской антропологии, представители которой считают, что культуры имеют сходную структуру и потому могут быть «переведены» с одного языка на другой, последователи различных направлений современной антропологии обращают внимание на трудности и неудачи «перевода» в большей степени, чем на его успехи. Понимание культуры как текста, методология семиотического изучения культуры нашли широкое воплощение в междисциплинарных историко-культурных исследованиях.

«Культурный» (или «культурологический») поворот в антропологии, переход от слова и текста как единиц анализа к дискурсу и социальному контексту является одним из важных проявлений общей тенденции в развитии современного социогуманитарного знания. Разработанные на стыке антропологии и социологии подходы «этнометодологического движения», изучающего микропроцессы социальной

жизни, находятся в русле данной тенденции и могут быть названы социосемиотическими. Они позволяют изучать процессы освоения индивидом своей культуры, использования им структур обыденного знания в ходе функционирования той или иной локальной социальной организации, в повседневной социальной практике, что особенно актуально для современной историографии.

Особого внимания заслуживает семиотическая концепция культуры, предложенная антропологом К. Гирцем. Ее актуальность определяется тем, что историк, изучающий прошлое, а тем более другую культуру, равно как и этнограф, не знаком (или не вполне знаком) с тем воображаемым миром, внутри которого действия людей являются знаками. По мнению К. Гирца культура не есть сила, которой могут быть произвольно приписаны явления общественной жизни, поведение индивидов, институты и процессы, она – контекст, внутри которого они могут быть адекватно, «насыщенно» описаны. Задача, которую выдвигает К. Гирц перед антропологией – посмотреть на вещи с точки зрения действующего лица, т. е. воссоздать представления носителей изучаемой культуры в ее собственных терминах, понять, что вкладывали люди в те или иные конструкции и формулы, в которые сами себя мысленно помещали и в которых сами себя описывали.

Трудно переоценить влияние антропологии на интерпретацию в исторических исследованиях не только менталитета, повседневного поведения, социальных практик индивидов, но и всех проявлений культуры социума. Заимствование концепций и методов этнологии, способствуя расширению познавательных возможностей и обогащению исследовательского инструментария историка, требует в качестве главного своего условия соблюдение логики исторического труда, обеспечение приоритета собственно исторической методологии.

*Л. Р. Хум* (Адыгейский ГУ)

#### **Новистика в системе современного социогуманитарного знания**

Процесс смены методологических ориентиров, переживаемый отечественной исторической наукой, затронул все области научно-исторического знания, включая историю Нового времени. Новая история занимает особое место во всемирно-историческом процессе. Достаточно сказать, что в ее рамках совершился грандиозный переход от традиционного (аграрного) к современному (индустриальному) обществу, основанному на рыночной экономике, развитых институтах демократии, светской идеологии. «Эпоха гегемонии Европы» интересна и близка нам, прежде всего, тем, что именно в этот период в основном был построен «общий дом» человечества со всеми позитивными и негативными последствиями этого процесса.

Этот ключевой период всемирной истории может и должен изучаться с позиций меж-, транс-, полидисциплинарного синтеза, так как смыслом постижения реалий нововременной действительности не может быть, при всем к нему уважении, только такое благородное дело, как удовлетворение «музейного» интереса к истории.

Новые подходы в изучении истории Нового времени, которые еще только нарабатываются отечественной историографией, призваны ответить на многие вопросы, поставленные современной историографической ситуацией: В частности, речь идет о комплексе теоретических проблем изучения и преподавания истории Нового времени в изменившихся условиях. Актуальность данной проблемы засвидетельствована на XX Международном конгрессе исторических наук в Сиднее (июль 2005 г.), в рамках которого она (в более широкой постановке) звучала в разных контекстах. Кроме того, более чем 20-летний опыт работы автора в системе вузовского исторического образования выявил достаточно высокий уровень несоответствия между «образами» истории Нового времени, сложившимися в академической науке и вузовской практике, что, естественно, ставит вопрос о возможных путях его преодоления.

В этом смысле особый интерес представляет находящееся в стадии формирования направление научных исследований, получившее название «новистика». Конституирование новистики началось в середине – второй половине 1990-гг., когда в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) состоялись первые, вторые и третьи Петербургские Кареевские чтения. Чтения, носящие имя выдающегося российского историка, профессора Санкт-Петербургского университета Н. И. Кареева (1850–1931), были инициированы кафедрой истории Нового времени исторического факультета СПбГУ во главе с тогдашним ее заведующим, проф. Б. Н. Комиссаровым. Первые чтения состоялись в 1995 г. В них участвовало 56 ученых из 11 городов России. Вторые – в 1997 г. (118 участников из 18 городов России). В-третьих, в декабре 1999 г., приняли участие уже 143 представителя 14 направлений научного знания из 25 городов России и ближнего зарубежья. Если на первых чтениях термины «история нового времени» и «новистика» рассматривались как синонимичные, то на третьих, характерной чертой которых стал их подчеркнута междисциплинарный характер, их организатор Б. Н. Комиссаров выступил с трактовкой новистики как «области исследований, посвященной изучению эволюции глобальных процессов в новое время, и на этой основе воссозданию динамики становления современного мира».

Особенность чтений состояла в том, что в их основе лежало стремление рассматривать мировую историческую эволюцию в Новое время как единый процесс, используя единое историческое время, а не множество континентальных, региональных и национальных времен. При этом основное внимание исследователей-новистов концентрирует-

ся вокруг именно тех проблем нововременной действительности, которые оказали решающее влияние на изменение облика мировой цивилизации. Такой подход к познанию прошлого очевидно перекликается с подходами глобальной истории. Понятия «история нового времени» и «новистика» не являются синонимами. Имея в качестве предмета исследования одно и то же пространственное и временное поле, история Нового времени и новистика решают разные задачи: первая, как любая конкретно-историческая дисциплина, прежде всего, удовлетворяет «музейный» интерес к истории, вторая, через изучение прошлого, должна вооружить практическим знанием.

Опыт внедрения в вузовскую практику новистических «штудий» уже имеет место. Так, в Смольном институте свободных искусств и наук (Санкт-Петербург) разработана программа «Новистика. Глобальные проблемы современного мира» (рук. – проф. Б. Н. Комиссаров), в рамках которой читается ряд базовых курсов, в том числе «История глобализации». Попытка изучения Новой истории в двух встречных направлениях – от прошлого к современности и от современности прошлому – была предпринята мною на историческом факультете Адыгейского госуниверситета. Традиционный курс Новой истории был дополнен спецкурсом «Теоретические проблемы новистики», в основу преподавания которого легли в том числе и авторские наработки.

Очевидно, что поиск новых подходов в изучении истории Нового времени не должен вестись в отрыве от общего процесса методологических исканий современной отечественной историографии. Это взаимообусловленные процессы, так как выход российской исторической науки на новые рубежи невозможен без переосмысления как блоков конкретной истории, так и теоретических интерпретаций всемирно-исторического процесса в целом.

И последнее. Печально, когда дела научные оказываются сопряженными с политикой. Кареевские чтения по новистике не проводятся последние 9 лет. Столь серьезный посыл к полидисциплинарности в исследовании нововременной действительности, сделанный в ходе их работы и показавший, как меняется, приобретая новые оттенки, картина прошлого, если она изучается не только историками, но и философами, социологами, религиоведами, биологами, географами, физиками и т.д., оказался погребенным под обломками «баталий», ничего общего с «боями за историю» не имеющими. Между тем, новистика доказала свое право на существование. Она может и должна развиваться дальше, прежде всего, в рамках таких представительных научных форумов, какими были Петербургские Кареевские чтения.

**«Новая культурная история» во Франции:  
смена научно-исследовательских программ?**

Смена фигур на интеллектуальном поле Франции, после крушения марксизма и структурализма, является практически законченной. В центре внимания – сознательные действия субъектов социальной реальности, основой которой считаются не абстрактные объективные факторы развития, а мир представлений человека, сформированный в процессе деятельности. Особое внимание – общественным связям на всех уровнях, связям, часто скрытым от обыденного сознания. В связи с этим переоценивается значение культуры как опыта человечества, который является основой развития. Культура – это и есть сущность человеческой природы со своей знаковой символикой, системами функций и практик. Основатели культурной истории выделили четыре основных направления, в которых развивается новая культурная история. Во-первых, это история политических и культурных институтов, которая использует понятия нации и государства, символику власти, отношения между культурой и политикой через действующих в истории лиц, идеи, а так же политическую культуру. Во-вторых, это история средств информации и информаторов. В узком смысле, это распространение знаний и информации. Но в реальности рассматриваются концептуальные течения, идеи и культурные объекты, поведение за школьной партой, практики различных религиозных ритуалов, спортивные комментарии, занятия в свободное время и т. д. В-третьих, выделяется история культурных практик. Это направление исследований имеет отношение к понятию «долгое время». Однако, оно не может больше замыкаться на себе, уплотняя социокультурную сущность, замкнутую в горизонте исследований. Происходит переход к изучению религиозной жизни, социальной, частной памяти, к исследованию практик человеческих групп. Наконец, в-четвертых, это история знаков и символов выражения.

Отличие новой культурной истории от истории ментальностей или от религиозной – в том, что история ментальностей ориентирована на изучение традиционных обществ и не может быть в полном объеме применена к изучению истории современной, для которой характерно быстрое изменение мира представлений.

Значительный отход от позиций школы Анналов – появление «новой политической истории», с осознанием того, что в современном мире большую роль играет рациональный выбор представителей политической элиты. Распад СССР и падение Берлинской стены невозможно было объяснить ни экономическими расчетами, ни социальными процессами, ни менталитетом. Новая политическая история должна была изучать политику как социальную практику. Она занимается изучением

речей, манифестов, формированием мифологии, политических идей, отношениями между политиками, политиками и населением.

Рассматривая культуру как накопление социального опыта надо признать решающую роль памяти, которая, по сути дела, аккумулирует культурную составляющую человека. В этой связи знаковым событием стала работа Поля Рикера «Память, история, забвение» (пер. с франц. М., 2004). Созданная им концепция герменевтической феноменологии позволяет исследовать механизмы социальной памяти и ее развертывания, раскодирования. Память сохраняет знаки, т.е. свернутую особым образом реальность. Но знаки формируются на основе реальных, материальных событий и вещей, имеющих местоположение в мире. В процессе деятельности реальные вещи интериоризируются, т.е. переводятся в знаковую систему человеческого сознания, при помощи которой он оперирует познанием окружающего мира и своими поступками. Важно рассмотреть этот механизм в конкретной эпохе и его влияние на действия человека того времени. Большую роль играет понятие «мест памяти», предложенное П. Нора, и концепция «семиофоров» К. Помьяна [Pomian K. *Histoire culturelle, histoire des sémiophores // Pour une histoire culturelle / Dir. J.-P. Rioux, J.-F. Sirinelli. P., 1997*]. Понятие «семиофор» применяется по отношению к видимым объектам, наделенным значением в контексте определенной культуры. Вне контекста предмет выбывает из этого значения, выбывает из культурной циркуляции. Тем не менее, к материальному содержанию «семиофора» необходимо добавить еще идеи, слова, понятия, обращающиеся в человеческом обществе, несмотря на материальную утрату семиофора. Человек мыслит понятиями и, по сути, отсутствие вещи не всегда приводит к её выбыванию из актуального сознания. Например, слухи часто не имеют никакого материального содержания, кроме словесной передачи от одного человека другому. В то же время эта информация имеет большое значение и значительно влияет на действия людей.

Трудно отделить от культурной истории историю памяти и политическую историю; по большей части, поля исследований, заявленные культурными историками, перекрываются полями исследований историков памяти, политической и интеллектуальной истории, так же как историками, изучающими экономические практики через исследование воображения. Сегодня можно говорить о культурной истории как о метаистории человеческого воображения, внутри которой можно выделить ряд направлений, присущих тем или иным национальным традициям, либо научно-исследовательским программам.

Границы культурной истории очень широки, отсюда возникает трудность применения полученных данных. Необходимо осознавать, какой результат может дать проведённая работа, в приложении к общему руслу исторического и общегуманитарного знания в данный конкретный момент. Только таким образом история может выполнить свою познавательную функцию, как дисциплина, дающая рациональное представление об историческом опыте человечества в целом.

**Стереотипы, ментальные карты, имагология:  
методологические апории**

В гуманитарных науках нередки случаи, когда те или иные феномены исследуются в рамках различных дисциплин или теоретико-методологических направлений при помощи разного категориального аппарата. Польза рассмотрения предмета с разных углов зрения не вызывает сомнений, но рано или поздно возникает потребность в обмене опытом, конвергенции теорий и адаптации языка научных описаний. Нередко такую потребность испытывает практикующий историк, переходя от конкретного к абстрактному и наоборот.

К описанному случаю относятся и образы «другого». Они рассматривались в рамках социальной психологии (кросскультурной психологии или этнопсихологии), в отмеченных влиянием культурной географии (антропогеографии) или структурализма исследований «картины мира», а затем в выполненных под знаком постструктурализма исследованиях «ментальных карт». Наконец, образы «другого» стали предметом специального изучения в синтетической субдисциплине, вышедшей из сравнительной истории литератур и названной «имагология». В рамках науки о прошлом эта тема, очевидно, может быть отнесена к интеллектуальной истории, поскольку она касается вопроса о механизмах и способах производства и распространения знаний.

Центральным понятием в работах психологов, посвященных обозначенной проблеме, является «социальный стереотип», чаще всего, этнический (автостереотип и гетеростереотип, составляющие динамическое целое). При этом признается, что понятие стереотипа, введенное в научный оборот У. Липпманом (1922), до сих пор не получило универсальной трактовки. Одни авторы, склонные к более широкому пониманию, выделяют в стереотипизации три уровня (когнитивный, эмоциональный и поведенческий), каждый из которых порождает «неполный» стереотип, а в случае их соединения в повторяющихся ситуациях — полный, а также два пути формирования стереотипа: непосредственный личный опыт и опосредованный коммуникативный путь. Впрочем, сторонники более узкого понимания, делающие акцент на повседневном опыте испытуемых групп (контактирующих этносов), вовсе не отрицают коммуникативную составляющую в формирующемся при этом стереотипе. Они указывают на соединение в нем когнитивной и эмоциональной информации, отделяя стереотипы от действия. Авторы, выходящие за рамки социальной психологии и теории массовой коммуникации, распространяют стереотип на любой процесс формирования знания, в том числе на современную научную практику.

Историк при обращении к литературе путешествий оказывается на перекрестке этих методологических подходов. С одной стороны, путешественник, отправившийся в чужую страну, несет с собой груз стереотипов, почерпнутых в своей социальной и интеллектуальной среде. С другой стороны, его записки являются результатом непосредственного опыта пребывания в другом мире и «удивления» от него. В этой ситуации могут трансформироваться старые стереотипы и возникнуть новые. Многое зависит от глубины погружения, компетентности, длительности пребывания, плотности коммуникации, открытости восприятия и т. д. Впрочем, некоторые из этих параметров противоречат друг другу. В любом случае нам не следует ожидать «фотографического» отчета. Впечатления путешественника в его сочинении интерпретируются с помощью двойного перевода: он переводит со своего «языка» на чужой и с чужого на свой. Историк предстоит вновь пройти этот путь, чтобы уклониться от простого воспроизводства старых стереотипов, но ему еще следует самокритично вписать результаты исследования в научный дискурс и язык сегодняшнего читателя.

Записки путешественников столько же говорят о стране, в которой они побывали, сколько и о той социальной и интеллектуальной среде, из которой они вышли. Страх перед воспроизводством стереотипа, как искаженного образа реальности, может убить саму идею исследования, нацеленного на поиск подлинных реалий в чужих свидетельствах.

Этим объясняется возникновение целого направления в изучении литературы путешествий, начало которому положила книга Э. Саида «Ориентализм» (1978). Следуя в русле концепции «власти-знания» М. Фуко, ее автор разоблачает европоцентристские стереотипы восприятия «Востока», подоплекой которых является обоснование принципа превосходства «Запада» и его права на обладание миром. Положенная в основу исследований после Саида модель, несмотря на его предупреждения и оговорки, порой абсолютизирует посюсторонний социальный опыт и литературную предвзятость путешественников, схематизм и ригидность стереотипа. Поклонники постструктуралистской теории нередко игнорируют или недооценивают степень дифракции свидетельств, различия в уровне политической и интеллектуальной ангажированности их авторов. Переход от «внутригруппового фаворитизма» к антифаворитизму в исследованиях «ментальных карт» сам по себе не может быть гарантией от стереотипности мышления.

Опыт гиперкритики в постструктуралистских исследованиях должен быть усвоен историографией, часто недооценивавшей механику производства знания. Однако продуктивность исследований в области «имагологии» (изучение образов «другого») будет затруднена, если не снять избыточную негативную нагрузку с понятия «стереотип» (дискурс, ложное сознание). С точки зрения социальных психологов, стереотип — не обязательно искаженный, но всегда неполный и упрощен-

ный образ, выполняющий важную функцию в процессе познания и даже элементарного ориентирования в окружающем мире. Это означает неистребимость стереотипов, которые все же различны по степени сложности и амбивалентны по природе, что обеспечивает их динамику. Историка не следует замыкаться в рамках дискурсивного анализа и нарратологии (хотя литературная история и теория для него полезны), вовлекая в исследование все возможные источники и объяснительные модели, выделяя разные уровни восприятия «другой» культуры.

*А. Б. Соколов* (Ярославский ГПУ)

### **Культурно-методологические, междисциплинарные и историографические основания истории тела**

Среди «новых направлений», формирующих облик современной историографии, история тела занимает особое место как наиболее динамично развивающаяся область исследований. Прежде историки (за редкими исключениями) не обращали внимания на то, что тело – это коммуникативная система, а используемые в языке и изображениях метафоры тела содержат скрытые смыслы. Между тем, «тело» не просто биологическая, но и историческая категория не только потому, что все тела находятся в состоянии постоянного изменения и меняются телесные практики, но и потому, что тело – это культурно-ментальный конструкт. Восприятие тела не универсально, а в значительной мере диктуется ценностями, присущими тому или иному обществу.

История тела возникла в социокультурном контексте потребительского общества, где тело не воспринимается лишь как нечто заданное природой, но как способ самовыражения: В западной культурологии выделяют несколько типов восприятия образов тела (гендерное, сексуальное, медикализованное, картезианское, гротескное) – одним из этих образов является «современное тело». Его признак – в «неопределенности», способности к изменению самого себя благодаря генной инженерии, пластической хирургии, спортивной медицине и т.д. Хотя большинство авторов связывают появление такого образа тела с индивидуализмом и культурой потребления, но также существует точка зрения, что современное тело отражает упадок индивидуализма и представляет форму социальной коллективности. Существует и иная точка зрения об условиях возникновения истории тела. Так, Д. Оутрам указала на значение практик манипулирования телом, сложившихся при тоталитарных режимах первой половины XX в., когда «намеренное использование физической жестокости как инструмента властвования, геноцид, основанный на расовых теориях и физических характеристиках, создание массовой политической аудитории путем проектирования бесконечных появлений национальных лидеров, их голосов и жестов на

массовых мероприятиях, было отличительным признаком эпохи... Тело стало главным инструментом публичного жеста, равно как и главным местом локализации политического контроля».

Источником возникновения истории тела стала философия постмодернизма. Тело занимало центральное место в концепции одного из ее основателей – М. Фуко. По его словам, в XVII-XVIII вв. произошло «открытие тела как объекта и мишени власти», «формируется политика принуждений – работы над телом, рассчитанного манипулирования его элементами, жестами, поступками. Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново». Постмодернизм утвердил конструктивистские интерпретации прошлого, в которых телесные образы, воплощенные в словах и на изображениях, являются для историков важным средством «расшифровки» смыслов, в них заключенных. Разумеется, это не значит, что концепция Фуко воспринималась историками тела некритично. Например, в литературе указывалось на противоречия дискурсивного анализа: видеть в телах только символы, метафоры и объекты властного воздействия означает игнорировать роль непосредственного физического опыта «владельцев» тел.

«Лингвистический поворот», возникший в постмодернистской парадигме исторического знания, поставил проблему «языка как метафоры». Именно в литературоведении было раньше всего указано на значение метафор тела для выяснения «смыслов». В условиях «визуального поворота» в современной историографии и изображения тела рассматриваются с той же целью. Так, французский историк А. Де Бек, изучая использование метафор тела в эпоху Французской революции, показал: и текст, и изображение в одинаковой степени полезны для понимания революционной ментальности [Baecque de A. *The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770–1800*. Stanford, 1997].

История тела испытала влияние соответствующих исследований в социологии и феминизме. У феминистских авторов проблема тела приобрела политический характер, поскольку оно было поставлено в центр анализа властных отношений в условиях патриархата. В трудах феминистов утверждалось, что женское тело олицетворяло «другое»: оно было загадочным, непокорным, угрожающим (в т.ч. подорвать патриархальный порядок). Они считают, что дискурс о теле в западной науке маскирует страх перед фемининным и устремленность маскулинного к сохранению контроля над женским телом. Гинекология и то, что ее сопровождает, включая контроль над рождаемостью, в феминистском дискурсе неразрывно связаны с «патриархатом», и подразумевают власть мужчины над женщиной, осуществляемую через контроль над женскими телами, их сексуальностью и репродуктивным потенциалом (Pringle R. *Sex and Medicine. Gender, Power and Authority in the Medical Profession*. Cambridge, 1998. P. 42). Затронуты такие темы, как сексуаль-

ность (проблема сексуального насилия), государственная политика в вопросах, связанных с телом (аборты, порнография, проституция, социальное вспоможение). Изучается опыт женщин в области «поддержания» своего тела (фитнес, мода, диета, косметическая хирургия и др.). В феминистской литературе рассматривались противоречия, вытекающие из беспрецедентного распространения косметической хирургии, несмотря на риски и опасности, которые она несет [Davies K. Reshaping the Female Body. The Dilemma of Cosmetic Surgery. N.Y., 1995].

К числу собственно историографических факторов возникновения истории тела относятся, во-первых, некоторые новаторские труды в области истории культуры, написанные еще в межвоенные годы. Среди них: «Короли-чудотворцы» М. Блока, «Рабле» М. Бахтина и, особенно, «Цивилизационный процесс» Н. Элиаса. Позднее поворотным моментом стала концепция двух тел короля Э. Канторовича. Во-вторых, предпосылкой для развития истории тела стал свойственный новейшей историографии крен на изучение повседневности. В качестве примера можно напомнить о труде Э. Ле Руа Ладюри «Монтайю», в котором описание «языка тела» заняло немалое место.

*А. Э. Афанасьева* (Ярославский ГПУ)

### **Культурная история медицины как междисциплинарное исследовательское поле\***

История медицины на современном этапе представляет собой один из наиболее ярких примеров преодоления дисциплинарных границ. С самого начала своего существования эта исследовательская область была полем взаимодействия двух дисциплин: истории – в самом традиционном ее понимании – и медицины. Однако настоящим образцом «смешения жанров» (К. Гирц) она стала в 60-70-х гг. XX в., когда к ее изучению обратились представители социальной истории и демографии, психологии и антропологии. Результатом было появление «новой», или «социальной», истории медицины. В отличие от традиционной, «агиографической», версии, развивавшейся с XIX в. в духе описания деятельности выдающихся медиков и прославлявшей неуклонный прогресс медицинского знания, новое направление сосредоточилось на изучении медицины в контексте исторического развития общества. Исследователей стали интересовать вопросы рождаемости, смертности, динамики заболеваемости населения, традиций и форм медицинской помощи от магии и народного целительства до «лабораторной медицины» новейшего времени; вопросы становления медицин-

---

\* Работа выполнена при поддержке Фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung), грант AZ 01/SR/06.

ской профессии и взаимоотношения медицины с религией и государством. Эти и многие другие проблемы рассматривались в тесной связи (и на фоне) экономических, социальных, политических процессов.

Наконец, в 1980-е гг. на волне «лингвистического поворота» проблемное поле новой истории медицины расширилось за счет обращения к языковой стороне исторической реальности, а инструментарий пополнился благодаря методам, заимствованным из литературоведения и лингвистики. Внимание исследователей к продуцируемым врачами и пациентами нарративам о болезни дало основание обозначить новую предметную область как «культурную историю медицины». На практике, особенно в последнее время, границы культурной и социальной истории оказываются весьма подвижными, и оба подхода нередко сосуществуют в рамках одной научной работы.

Будучи частью «новой культурной истории», культурная история медицины так же сосредоточена на человеке с его переживаниями и представлениями о себе и окружающем мире. Ученых интересуют вопросы восприятия людьми своего тела в состоянии болезни и здоровья, отношения к боли, рождению, жизни и смерти. Центральной темой культурной истории медицины, таким образом, становится личный опыт телесного существования индивида, опосредованный культурно и идеологически. Образцом подобного типа исследований могут служить наблюдения Э. Уэра: в XVII–XVIII вв., отмечает ученый, люди в гораздо большей степени, чем раньше, концентрируются на физических ощущениях, посвящая продолжительные пассажи в своих дневниках описаниям боли и страданий. Это говорит не о том, что чувства стали более утонченными, а о том, что умы людей все больше занимало отслеживание различных состояний своего тела, что, возможно, коррелирует с упадком в это время подобных рефлексий о состоянии души, характерных для предыдущих столетий. [Wear A. *Interfaces: Perceptions of Health and Illness in Early Modern England // Problems and Methods in the History of Medicine* / Ed. by R. Porter and A. Wear. L., 1987].

На другой показательный пример – сдвиг в значении термина «ипохондрия» в XVIII в. – указывает Р. Портер: традиционно термин обозначал плохое пищеварение, связанное с нарушением работы органов брюшной полости. В течение XVIII в. понятие «ипохондрия» приобретает все более метафорический, современный, смысл, обозначая состояние болезненной озабоченности своим здоровьем. Бум ипихондрии, наблюдавшийся в этом столетии, свидетельствует о появлении нового ощущения того, что физическое здоровье – это норма, в связи с чем любая боль воспринимается как тревожный сигнал о его возможной потере. И это новое ощущение говорит об ином восприятии себя и мира в XVIII в. Оно выражается в стремлении жить долгой и полноценной жизнью, отказе от аскетичности, характерной для предыдущей эпохи. [Porter R. *Bodies of Thought: Thoughts about the Body in XVIII-century England // Interpretation and Cultural History* / Ed. by J. Pittock and A. Wear. L., 1991]. Пример ипихондрии, таким образом, демонстрирует

тесную связь телесных нужд и ощущений людей с более широкими идеологическими представлениями о себе и своих отношениях с обществом и окружающим миром в целом.

Несмотря на выраженную направленность на изучение пациента, культурная история медицины не оставляет без внимания и других участников медицинского взаимодействия – врачей и государство. Ученые исследуют особенности производства медицинского знания и культурные контексты медицинских дискурсов и практик, подчеркивая зависимость медицинских представлений от социальных доктрин и культурных стереотипов эпохи. Особое значение – под влиянием М. Фуко – уделяется техникам дисциплинирования тела через медицинское воздействие. Наиболее зримо эта роль медицины проявляется в колониальном контексте, где врачебное воздействие выступает как часть государственного, и туземное население превращается в обезличенный объект изучения, контроля и медицинских манипуляций.

В фокусе внимания историков медицины находится вопрос: как западной «научной» медицине удалось вытеснить все прочие формы и традиции врачевания и приобрести статус единственно авторитетной системы медицинского знания; как произошла «медикализация» жизни, монополизирование современной медициной права определять «истинные» потребности тела, направляя каждого человека на пути к долголетию. Наконец, культурная история медицины занимается выявлением новых измерений понятий «тело», «здоровье», «болезнь», «лечение» и т. п. Казалось бы, давно очевидные, эти понятия приобретают совершенно разные значения в зависимости от исторического контекста.

Прислушиваясь к «голосам» пациентов и врачей, выявляя сложное многообразие форм и практик медицины, вариативность языков и точек зрения ее агентов, культурная история медицины способствует созданию многослойной картины прошлого – едва ли возможной без обращения к исследовательскому инструментарию многих дисциплин.

*В. А. Сомов* (Нижегородский ГУ)

#### **Применение историко-психологического метода при изучении мотивации труда.**

Преобразующая деятельность человека, выраженная главным образом, в труде, имеет сложную мотивационную основу. Выяснение мотивов социального и, в частности, трудового поведения является сегодня одной из самых актуальных проблем исследования целого ряда наук и отраслей знания: социологии, психологии, экономики, менеджмента. В последнее время интерес к мотивации деятельности человека проявляют и историки, что позволяет им восполнить существующие пробелы в научном понимании «духа эпохи». Как признавался философ А. А. Зиновьев: «Меня не интересуют законы истории, историческая

целесообразность и прочие объективные, не зависящие от воли людей явления. Меня интересуют мотивы поступков людей и их отношение к своим поступкам» [Зиновьев А. А. Сталин – нашей юности полет: Социологическая повесть. М., 2002. С. 177].

На наш взгляд, решение задачи исторической реконструкции мотивационных факторов трудового поведения лежит в области полидисциплинарного исследования и заключается, в частности, в применении локального, микроисторического и историко-психологического методов.

Одним из первых, кто обратил внимание на необходимость использования в гуманитарном исследовании методов смежных наук, был основатель ленинградской психологической школы Б. Г. Ананьев (1907–1972). Касаясь вопроса изучения природы труда, он писал: «...подход к человеку как субъекту труда требует разностороннего исследования морально-психологической стороны трудовой деятельности человека в конкретных условиях социалистического производства». [Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. СПб., 2001. С. 11, 27].

Прямые свидетельства отношения человека к труду смело можно отнести к имеющейся в источниках дефицитной информации. Даже анализ источников личного происхождения не всегда позволяет в полной мере восстановить структуру формирования мотивации трудового поведения. Проблему, на наш взгляд, можно решить с помощью метода историко-психологической реконструкции, одним из самых действенных приемов которого является метод «вживания» в объект исследования. Реконструируя повседневную реальность, которая окружала трудящегося индивида, исследователь должен учитывать ее основные компоненты: материальные, политико-правовые и духовные. Только после этого можно попытаться определить, как индивид *воспринимал* эту реальность и как он *реагировал* на нее.

Безусловно, такой метод имеет свои недостатки, связанные, прежде всего, с высокой степенью возможности подмены научного знания вымыслом. Но для того, чтобы попытаться *понять* эпоху он, в сочетании с другими методами, является вполне приемлемым и действенным. М. М. Бахтин писал по этому поводу: «Существенным (но не единственным) методом эстетического созерцания является вживание в индивидуальный предмет видения, видение его изнутри в его собственном существе. За этим моментом вживания всегда следует момент объективизации, т. е. положением понятой вживанием индивидуальности вне себя, отделение ее от себя, возврат в себя, и только это, возвращенное в себя сознание, со своего места эстетически оформляет изнутри схваченную вживанием индивидуальность как единую, целостную, качественно своеобразную». [Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. М., 1986. С. 92].

На наш взгляд, использование метода «вчувствования» должно применяться, во-первых, только для решения конкретных задач по

принципу *аналогии*. Например, с высокой степенью достоверности можно реконструировать эмоции и мотивы поведения, вызванные у индивида созерцанием плакатов, карикатур. Услышанные или написанные стихи и песни, другие эстетические компоненты человеческой жизни должны были вызывать чувства и эмоции аналогичные современным. Проекция современного восприятия на сознание исследуемого индивида по принципу аналогии может, на наш взгляд, существенно пополнить наши представления об изучаемой эпохе и способствовать появлению нового научного знания.

Во-вторых, не стоит забывать об объективизации знания, о которой говорил М. М. Бахтин. Осознавая возможности метода «вживания», его недостатки, историк сможет наиболее эффективно «встроить» его в систему собственного исследования, обезопасив себя, таким образом, от соблазна вымысла и обеспечив своим выводам научную значимость. При этом историк, признавая репрезентативную ценность субъективных ощущений, вызываемых конкретными историческими условиями, для объективизации полученного знания должен постоянно рефлексировать по поводу своей познавательной деятельности.

Таким образом, сочетание методов индукции, исторической психологии и локального подхода, попытки понимания и объяснения мотивов деятельности исторического персонажа и массы путем «вживания» в его сущность – это, на наш взгляд, главный (хоть и не единственный) способ диалектического понимания эпохи «из нее самой», в том числе и факторов трудовой мотивации.

*А. С. Ходнев* (Ярославский ГПУ)

#### **«Новая культурная история» и «новая история досуга»**

Р. Дарнтон, подчеркивая отличительные черты новой культурной истории, писал, что большинство людей склонны думать, что предмет культурной истории – культура с заглавной буквы. Однако это направление историографии отличается совершенно новым взглядом на методы и подходы к источникам и интерпретации эмпирического материала. Если раньше существовало изучение «истории идей», исследовалась традиция передачи формального мышления от одного философа к другому, то с конца 1980-х гг. последователи направления «новой культурной истории» обратили внимание на простого человека. Они не делали из него философа, а стремились раскрыть его восприятие действительности, то, как этот реальный мир менял стратегию поведения человека. Простые люди постигали стратегию, как стать «интеллектуалами улицы», и они порой становились такими интеллектуалами, по масштабу не меньшими, чем иные философы.

Историки «новой культурной истории» заметили феномен иного / другого. Человек прошлой эпохи думал и действовал иначе, чем современник. Собираение и обобщение примеров необычного поведения стало важным объектом исследований. Историкам было предложено внимательно читать тексты культуры прошлого, независимо от того, что становилось текстом: философский трактат, сказка, ритуал или целый город. Как подчеркивал П. Берк, в конце XX в. историки были «на пути к культурной истории всего на свете: снов, еды, эмоций, путешествий, памяти, жестов, юмора, экзаменов и т. д.».

К. Гирц предложил «интерпретативную теорию культуры», поставив в исследованиях на первое место смысл и «плотное, насыщенное описание» («thick description»). Согласно его определению, культура – это «исторически передаваемая система значений, воплощенная в символах... посредством которых люди... сохраняют и развивают свое знание жизни и отношение к ней». Трудно переоценить влияние этих идей на Р. Дарнтон.

Одной из новаций «новой культурной истории» стало изучение различных практик в прошлом. Благодаря этому профессиональный статус получила ранее любительская история спорта. Ряд исследований по истории потребления были вдохновлены работами Бурдье о социальных различиях. Своеобразный бум переживает история путешествий, как область истории культурных практик, о чем свидетельствуют появление специальных журналов и публикация все большего числа монографий и коллективных трудов. Достижения «новой культурной истории» внушают уважение: открыто много новых тем, обновилась методология, введены новые понятия.

В отличие от «новой культурной истории» до конца XX в. история повседневности и ее неотъемлемая часть – история досуга – находились на обочине основной дороги исследований историков. Эти штудии не считались чем-то серьезным, скорее обвинялись в потворстве дилетантским запросам, доминировании социологией и экономикой в ущерб истории и даже в использовании историками личных детских впечатлений. Однако в США и Англии издается много интересных книг по истории досуга людей разных эпох. В российской историографии историки занимаются исследованием досуга случайно, и сам сюжет чаще всего рассматривают как вспомогательный предмет.

История досуга и спорта, появившаяся на Западе в конце 1950-х годов под мощным влиянием социальной истории, с точки зрения теоретических подходов и используемых материалов была во многом эклектичной. Однако в последние 15-20 лет второе поколение историков досуга обретает академические подходы к предмету исследования. Об этом свидетельствует наблюдающийся в их работах легкий ревизионизм, быстрое исчезновение неизученных в этой области тем и резкое расширение предмета исследования. Иными словами, происходят те же процессы, что и в «новой культурной истории». Тем не менее, П. Борсэй отмечал, что досуг как предмет исследования – расплывчатый, не-

ясный, и к тому же он обладает способностью перетекать в другие области. Подмеченный парадокс последних публикаций в истории досуга состоит в следующем. Несмотря на то, что досуг обычно понимают как время свободное от работы, историки незанятого времени стараются обрисовать досуг в индустриальных обществах, где его естественно больше, не отделяя его от работы, рабочих часов. Например, популярны исследования занятости в области досуга.

Новым поворотом в исследовании истории досуга может стать использование методов, разработанных в «новой культурной истории». В частности, выявление «культурной непонятности» и «нервности» («Cultural anxieties») при смене поведения людей (даже элит) в области досуга. Источники показывают, что ни один новый общественный слой не знал изначально, как реализовать новые стандарты поведения или новые практики в области досуга.

Перспективна и история потребления в плане изучения различных историй и проектов покупок в свободное время, походов в рестораны, поведения людей, их настроений – «неотвратимый результат нашего помешавшегося на шопинге общества».

Очевидно, что широко используемое в начале XXI в. понятие «глобализация» также требует вмешательства в его обсуждение историков. Существуют ли исторические корни у глобализма в прошлом, или, как утверждают экономисты, это явление появилось только после второй мировой войны и окончательно оформилось в 1990-е гг.? Каким образом в разные эпохи глобализация влияла на поведение людей во время использования ими свободного времени, досуга? Эти вопросы требуют тщательного обсуждения при участии историков. Не случайно, новым в исследованиях истории досуга на Западе стало широкое использование в качестве источника сайтов Интернета не только для того, чтобы почерпнуть там материалы о досуге, но и потому, что эти сайты могут пролить свет на поведение людей, а также внешние, контекстуальные и сущностные характеристики процессов.

*Ю. Ю. Хмелевская* (Южно-Уральский ГУ)

#### **«Эмоциональная история» в современной историографической парадигме: истоки, возможности и проблемы**

Общезвестно, что антропоморфно-эмоциональная терминология, применяемая в характеристиках отдельных исторических акторов, социальных групп, целых обществ и даже эпох давно превратилась в устойчивую и не вполне отрефлексированную черту научного языка историков, зачастую совершенно не задающихся вопросом об эпистемологической оправданности понятий и метафор, привлекаемых в качестве объяснительных клише. В значительной степени это было связано с укоренившимся в традиционной (рационалистической по преимуществу) историографии разделением социальных явлений на

«рациональные» и «иррациональные» и их противопоставлением. Эмоции относились именно ко второй сфере и считались предметом психологии, а не частью исторического процесса. Другими словами, пользуясь эмоциональными эпитетами, исследователи игнорировали эмоции как историческое явление.

Историографическая ситуация последних полутора десятилетий свидетельствует о явном росте исследовательского интереса к эмоциям и чувствам как самостоятельным факторам исторического развития, что, по сложившемуся уже обычаю, спровоцировало декларации об очередном «повороте», на этот раз – эмоциональном. Однако перед историком, занимающимся чувствами и эмоциями, встают несколько трудноразрешимых проблем. Во-первых, это трудности источниковедческого порядка – изучая эмоциональную жизнь прошлого, исследователю приходится сталкиваться не с самими эмоциями, а с их вербальными и невербальными воплощениями, в процессе анализа которых необходимо учитывать разнообразные контексты их формирования – дискурсивные, социальные, политические. Вторым препятствием может стать методологическая дилемма, поскольку при всей своей постановочной новизне теоретическая дискуссия об эмоциях в известной степени отражает традиционную бинарность «рациональное» – «иррациональное».

Хотя призыв к историческому изучению эмоций прозвучал из уст Л. Февра еще в 1940 г., целенаправленное освоение историками «эмоциональных» наработок смежных дисциплин началось сравнительно недавно. С известной долей упрощения разнообразие многочисленных концепций, предлагаемых социологией, социальной психологией и другими дисциплинами, можно свести к двум принципиально различающимся группам. Первая из них представлена так называемой «гидравлической моделью» (термин Б. Розенвейн), рассматривающей эмоции как «иррациональные» и неструктурированные феномены, нуждающиеся в сдерживании и постепенно подпадающие под влияние различных цивилизующих инстанций (Просвещение, морализм, работы Н. Элиаса, Школы «Анналов», М. Вебера, З. Фрейда, М. Фуко, современная американская эмоциология П. и К. Стернс, и др.). Отдавая исследовательские приоритеты не столько самим «чувствам», их проявлениям и функциям, сколько процессу формирования «рациональных» внешних и внутренних механизмов их сдерживания и выражения (от принуждения извне до самодисциплины), эта модель достаточно органично вписалась в дисциплинарные рамки истории. С одной стороны, она обеспечила новые основания для «больших нарративов», постулирующих контроль над «аффектами» как признак цивилизации и современной ментальности, с другой – существенно снизила познавательную ценность изучения эмоций как таковых, фактически заменив историю эмоций интеллектуальной историей и историей властных дискурсов.

Другая модель, связанная с развитием в 1960–1970 гг. антропологии, когнитивной психологии и конструктивистской философии, представлена совершенно иными трактовками эмоционального, сместив-

шими акцент с аффективного компонента эмоций на их рациональность и понимание их как универсальной социально структурирующей и упорядочивающей силы, с помощью которой обеспечивается коммуникация в обществе. В этой связи, основной задачей исследователя становится не изучение «управления» эмоциями, а анализ их инструментальной роли и расшифровка содержащихся в них «посланий» и их символики, даже если сами их агенты и не осознают этого символизма. Такой междисциплинарный по своей сути подход гораздо труднее интегрируется в привычный для историков исследовательский инструментарий, однако именно в рамках этой модели были выдвинуты наиболее систематичные теории и предложения по поводу историзации эмоций. Концепции «эмоциональных режимов» и «навигации чувств» У. Редди, идеи Б. Розенвейн о множественности и инструментальности «эмоциональных сообществ», сосуществующих в каждую отдельную эпоху, которые на данный момент наиболее часто цитируются историками-«эмоционалистами», позволяют не заикливаться на создании очередного «великого нарратива», а рассматривать эмоциональную жизнь прошлого во всем ее многообразии и неоднозначности.

Последние годы были отмечены значительными успехами «истории эмоций» европейского Средневековья и раннего Нового времени, в то время как в русистике и, в особенности, в отечественной историографии это направление пока что совершает лишь первые шаги. Однако представляется, что осмысление исторического опыта XX в., богатого самыми различными эмоциональными проявлениями, обеспечит этой исследовательской парадигме широкие возможности, превратив ее в важный инструмент изучения не только эмоциональных феноменов как таковых, но и их взаимодействия с общественным климатом и «большими» политическими решениями; а историки, которые прежде к месту и не к месту уверенно писали о хладнокровии и страстности, ненависти и любви, жестокости и великодушии, ярости и жалости, в свою очередь, будут пользоваться эмоциональной фразеологией более осознанно.

*С. А. Рассадина (СПбГУ)*

#### **Историческая трансформация практик удовольствия как предмет междисциплинарных исследований**

Способность испытывать удовольствие – не только природная данность, но и результат воздействия механизмов инкультурации. Методологические основания для разработки исторической концепции телесно-чувственного опыта заложил французский феноменолог М. Мерло-Понти. Предлагаемый им философский подход основан на том, что никакое восприятие не может быть рассмотрено исключительно в терминах психофизиологического функционирования. Соответственно, если исследователь стремится свести анализ телесных практик к выявлению элементарных реакций удовольствия и боли, тем самым он

необоснованно игнорирует мир культурных значений. «Естественная установка, писал М. Мерло-Понти, – не в том, чтобы испытывать наши собственные чувства и потакать собственным удовольствиям, а в том, чтобы жить в соответствии с эмоциональными категориями среды» (Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 482).

Культурная регламентация эмоциональных практик не ограничивается насаждением норм, сдерживающих природные инстинкты. Культура оформляет, канализует, дифференцирует и семиотизирует естественные импульсы человека, превращая их в значимые элементы социальной практики. Как показал М. Фуко, культурные императивы, интенсифицирующие стремление к удовольствию, имели не меньшее историческое значение, чем императивы репрессивного характера [См.: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996]. Носителям определенной идентичности (этнической, гендерной, статусной) приписывается (и предписывается) «склонность» к определенному комплексу удовольствий. Соответственно, практики удовольствия могут быть подвергнуты анализу как отражение значимых в определенном культурном контексте проблематизаций бытия, а изучение их исторической трансформации позволит увидеть, каким образом происходило изменение форм самоидентификации – не только на уровне рефлексии, но и на уровне телесного самоощущения. Подобный исследовательский проект требует междисциплинарного подхода, привлечения данных и методов психологии, социальной антропологии, филологии и других наук о человеке.

Основная задача доклада – указать прецедентные тексты и резюмировать содержащиеся в них методологические принципы исторического анализа практик удовольствия. В первую очередь, необходимо упомянуть богатую историческую традицию «бытописания», которая получила продолжение в скрупулезных фактографических исследованиях, воссоздающих повседневную жизнь прошлого, как, например, работы П. Гиро, посвященные античности. Новый импульс исследованию «структур повседневности» получило усилиями историков Школы «Анналов» – в первую очередь, Ф. Броделя, чьи работы дают впечатляющую картину систематизированного описания эпохального среза культуры путем интеграции данных географии, экономики, политологии, демографии, социологии. В подобных исследованиях наряду с другими формами культуры, безусловно, рассматриваются и практики удовольствия. Однако необходимо особо выделить фактографические исследования, предметом которых была непосредственно интересующая нас тематика – исследования, посвященные исторической трансформации практик удовольствия. В этом ряду, как наиболее значимые прецеденты, должны быть названы труды Э. Фукса и И. Блоха по истории сексуальной жизни, работы Дж. Гуди, М. Монтанари, С. Минца, Ю. М. Лотмана и Е. Погосян по социальной истории гастрономических

предпочтений, а также масштабный проект издательства НЛО «Ароматы и запахи в культуре».

Вместе с тем необходимо отметить, что разработка методологического инструментария для *аналитического* описания практик удовольствия – заслуга не столько исторических наук, сколько социальной или культурной антропологии. Именно в рамках этой области знания впервые был поставлен вопрос о культурной вариативности чувственно-телесного опыта. Более того, исследуя взаимосвязь социальной структуры и личностной ориентации, антропологи переосмыслили предметный статус эмоционально-телесных практик: концепт «габитуса» дал возможность выстраивать рассуждение в терминах инкорпорации основных социальных императивов и ценностей. Тем самым телесные практики – казавшиеся, с точки зрения истории, периферийной и факультативной областью человеческого бытия – были перенесены в фокус исследования. «Забота об удовольствии» предстала важной формой социальной активности как результат миметической идентификации, в процессе которой тело субъекта культуры становится своего рода аналоговым оператором для установления соответствия между значимыми делениями социального мира, что проявляется в реакциях эмоционального принятия, или отторжения, маркированных реалий. Классический пример подобного исследования повседневных предпочтений – фундаментальный труд П. Бурдьё, посвящённый социальной антропологии Франции 70-х гг. XX в. [Bourdieu P. *La Distinction, Critique sociale du jugement*. Paris, 1979].

По мере формирования проблемного поля исторической антропологии (М. Ландман) и исторической психологии (Л. Февр) появляются исследования, трактующие вопросы исторической трансформации телесно-чувственного опыта в терминах согласования внутренних интенций индивида и соответствующих социальных практик. Однако по сей день уникальным примером синтеза психологии, антропологии, исторической социологии и философии культуры остается проект истории повседневных практик, предложенный Н. Элиасом (*Über den Prozess der Zivilization*. Basel, 1939). Анализируя процесс формирования европейской цивилизации Нового времени, Элиас предложил методологию, позволяющую рассматривать изменение эмоциональной структуры личности, манифестирующей в привычных реакциях удовольствия и неприязни, как свидетельство значимой трансформации социальных структур. Таким образом, исторические процессы могут быть представлены в терминах вытеснения одного комплекса практик удовольствия и его замены другим, релевантным иному габитусу и, соответственно, иной системе социальных дистинкций.

**Общее гуманитарное знание  
на пересечениях интеллектуальных полей**

Междисциплинарность как исследовательская парадигма – не умозрительное построение теоретиков, но потребность современного состояния гуманитаристики. Об этом свидетельствуют исследовательские практики. В качестве примера обратимся к журналу «Новое литературное обозрение» («НЛО»), позиционирующему свое предназначение подзаголовком «теория и история литературы, критика и библиографии». При чтении отдельных номеров журнала только за 2006 г. обнаруживается большой массив материалов, расположенных на перекрестке интеллектуальных полей – филологии, истории, культурологии. В первой же рубрике № 78 обращает на себя внимание формулировка «1920-е: Социальный заказ и стратегии самореализации», в которой заложены в комплексе социологический, исторический и филологический подходы. Помещенная в этом разделе статья С. В. Ярова «Интеллигенция и власть в Петрограде 1917–1925 годов: конформистские стратегии и язык сотрудничества» поднимает актуальные исторические проблемы взаимоотношений новой большевистской власти и «старой» российской интеллигенции, механизма формирования «нового советского человека», которые решаются с использованием психологии, лингвистики, семиотики. Описание автором историка «в роли психолога», рассуждения о языке сотрудничества интеллигенции и власти, как о средстве идеологической коммуникации и системе публичных дискурсов свидетельствуют о внутренней потребности исследователя смотреть на предмет своего изучения под широким углом зрения.

«Скетч по кошмару Честертона» М. Маликовой в том же номере выходит далеко за рамки литературно-театроведческого дискурса. На основе истории постановки пьесы Г. К. Честертон А. Я. Таировым в конце 1923 г. автор освещает отдельные стороны социокультурной ситуации эпохи нэпа, в частности, попытку совмещения творческой интеллигенцией социального заказа власти с индивидуализмом творчества. На основе этого совершенно конкретного опыта предпринимается попытка по-новому осмыслить переходный характер эпохи, противоречивое единство нормы и аномалии тех лет. Статьи К. Кобрин, К. Богданова и М. Вайскопфа представляют собой сюжеты советской интеллектуальной истории, помещенные в широкий социокультурный и исторический контексты. Характерно редакционное замечание к статье К. Богданова о том, что «НЛО» обсуждает ряд проблем, «связанных с актуализацией истории филологического и общегуманитарного знания», которое невольно подчеркивает междисциплинарный подтекст содержания издания.

Естественное содружество филологов, историков и культурологов на страницах журнала позволило определить главные точки пересечения интеллектуальных полей, которые символизируют актуальные вопросы общегуманитарного знания – человек во времени или взаимодействие бытия и духа человеческого со временем, институции памяти и связанные с ними понятия традиций и новаторства, формы и содержания, стабильности и динамики. Тут мы имеем дело не с механическим заимствованием соседского исследовательского инвентаря или результатов смежной научной дисциплины для углубления познания в собственных профессиональных рамках. Это, скорее, производство синтетического гуманитарного знания, одинаково значимого для любого гуманитария.

Опасение, что данная ситуация ведет к размыванию границ отдельных специальных наук кажется нам напрасным. Гуманитарная наука от разговоров о междисциплинарности, полидисциплинарности, трансдисциплинарности постепенно перешла к реализации этих проектов «снизу», исходя из потребностей познания в собственной области. Исследователи сохраняют свой профессиональный статус, одновременно обогащая свою аналитическую мастерскую инструментами из других областей гуманитаристики, пропустив их через собственные профессиональные традиции и навыки, сделав их, таким образом, «своими».

Может быть, современная междисциплинарность – это прорыв к традициям российской гуманитаристики начала XX в., инициатива которого принадлежит филологам Ю. М. Лотману, С. С. Аверинцеву, М. Л. Гаспарову, А. В. Михайлову [С. Неретина. Точки на зрении. СПб., 2005. С. 23]. Плоды их трудов гуманитарии, в том числе и историки, пожинают в XXI веке.

Подтверждение этому тезису мы находим в № 82 «НЛО» в материалах «круглого стола» «Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии» под рубрикой «Аналитика житетворчества Ю. М. Лотмана и Л. Я. Гинзбург». Инициатива этого обсуждения принадлежит французскому ученому Л. Тевено, который обратил внимание на механизм взаимной «переводимости» языка и мышления различных гуманитарных дисциплин при разработке Ю. М. Лотманом «поэтики бытового поведения». В своих заметках по поводу этой дискуссии В. Живов назвал интеллектуальное наследие Ю. М. Лотмана и Л. Я. Гинзбург питательными источниками, «к которым будет припадать и наше поколение, и поколение наших учеников». Подходы «новой интеллектуальной истории» явно проступают и в материалах «круглого стола», и в рефлексии на них. В. Живов постулирует важный для понимания интеллектуальных коммуникаций человека «своего поколения» тезис о том, что теоретические усилия и область профессионального интереса гуманитария в значительной степени определяются его жизненным опытом, его социальностью.

Семиотика Ю. М. Лотмана шла навстречу социальным наукам, т. к. пыталась анализировать социальные практики. Л. Тевено с удовольствием отметил возобновление «диалога между всем континентом русской филологии, с одной стороны, и с социальными науками, с другой стороны – как русскими, так и западными», напомнив, что такой диалог был и в прошлом. В начале XXI в., как продемонстрировало обсуждение, специалисты разных областей гуманитарного знания стали лучше понимать друг друга, ибо в данном собрании проявилось единство в понимании разных подходов. Это ли не свидетельство укоренения новой парадигмы в пространстве современной гуманитаристики?

*П. И. Гришанин* (Пятигорский ГЛУ)

### **Современная историческая наука в контексте развития гуманитарного знания**

С конца XX в. историческое познание переживает существенные преобразования, которые укладываются в понятие «кризис истории». Он называется и кризисом роста, и методологическим кризисом, и кризисом социальной функции истории. В результате состояние исторической науки уже воспринимается рядом исследователей как кризисное, а сам кризис превратился в постоянную величину в истории исторической мысли на рубеже XX–XXI вв. Суммирующим выглядит утверждение современного философа А. Л. Стризе о кризисе исторической науки как социального института. Преодолеть его возможно, лишь изменив формы ее институционализации в обществе таким образом, чтобы «производство» нового знания о прошлом осуществлялось в единстве его формальной и содержательной сторон.

В то же время в научном экспертном пространстве заметно доминирует положение о том, что кризисы в любой отрасли науки являются предвестниками качественных скачков в их развитии. Они важны для понимания характера и направления развития исторической науки, для осмысления тех неизменных методологических традиций, на которые ориентировалась историческая мысль. В рамках дискуссий о характере современного этапа развития исторической науки произошло смещение проблематики от политических аспектов к проблематике мира культуры и представлений, связанных с человеческой деятельностью. Подчеркивается ограниченность возможностей истории ментальностей и расширение познавательных границ антропологически ориентированной историографии. Заметно реабилитируется политическая и событийная историография. Кардинально меняется отношение к историческому источнику, которое порождено новым отношением к тексту как «к пульсирующему пространству постоянно возникающей интерпретации, которая актуальна только в момент чтения» (З. А. Чеканцева).

Все явственнее ощущается потребность в рамках доминирующего социокультурного подхода раскрывать механизм социального взаимодействия в событиях и явлениях прошлого, а развитие средств массовой информации и коммуникативных технологий усиливает интердисциплинарность современного исторического знания. Оно становится частью общегуманитарного дискурса, в полной мере демонстрируя глубину перемен, происходящих в гуманитарных науках. Лидирующее развитие интеллектуальной истории и исторической антропологии свидетельствует о формировании нового исторического сознания, способного создать новый образ прошлого. Заметен процесс интернационализации исторической практики. Однако он направлен не на тотальную унификацию или поиск какого-то общего для всех катехизиса. Современные исследователи поднимают проблему формирования единой всемирной истории. В ее основу должно быть положено новое историческое знание, связанное с переориентацией социальной истории на развитие личности. Деятельность всемирно-исторического субъекта по производству самого себя обращается в производство истории.

Между тем оценка состояния исторической науки всегда определялась в контексте развития других гуманитарных дисциплин. Эта междисциплинарная система развивается по законам, когда крупные познавательные изменения одного из ее звеньев не могут пройти бесследно для всех остальных. Формирование этой системы было сопряжено со сложными процессами специализации, внутренней дифференциации, кооперации и реинтеграции различных научных дисциплин, которые не могли не сказаться на конфигурациях исследовательских полей и определении приоритетных направлений исторической науки [Репина Л. П. Междисциплинарность и история // Диалог со временем. 2004. Вып. 11]. В современных научных разработках актуализируется проблема складывания новых междисциплинарных сообществ. В этом можно видеть залог динамичности развития современной историографии, превращения исторического знания в важнейшую составную часть гуманитарного дискурса.

При этом важно учитывать, что само так называемое историописание представляет собой способ производства идентичности. Поскольку мотивация процесса конструирования исходит из субъекта, пребывающего в определенном социальном мире, то в каком-то смысле история – это отражение образа настоящего в прошлом. И в этом смысле вся история, включая и современную историографию, представляет собой форму мифологии в ее культурно-антропологическом понимании. Иными словами, как считает В. А. Тишков, история представляет собой поле состязательности между субъектами идентификации. Поэтому историческое знание и участники его производства пребывают в несвободной от культурно-ценностного контекста сфере властных взаимовлияний и современных воздействий.

В современной историографии существуют два подхода. Сторонники одного считают, что исторические события не могут иметь материальную эффективность в настоящем. Для других, напротив, культура представляет собой организацию современной ситуации в терминах прошлого. Допускается, что источники содержат в себе свидетельства определенных методов, которые исследователь может извлечь, используя определенные методы. Сам же текст источника Ф. Анкерсмит не считает непреодолимым препятствием на пути постижения прошлого.

История как осмысленная версия прошлого представляет собой современный ресурс, и в принципе каждое новое поколение пишет свою собственную историю, одновременно в каждом поколении присутствуют конкурирующие версии с разными шансами стать если не единственными, то хотя бы доминирующими.

*Н. И. Недашковская* (Казанский ГУ)

**Несостоявшийся проект истории европейского славяноведения:  
опыт междисциплинарной деконструкции<sup>†</sup>**

Славяноведение формировалось на рубеже XVIII–XIX вв. как комплексная наука о славянской культуре, включавшая в себя исторические, этнографические, историко-литературные, лингвистические и др. исследования. Сложность подхода, а также вовлеченность науки о славянах в политические процессы, связанные с борьбой за независимость славянских народов – те причины, которые традиционно называют историографы, объясняя противоречия и определенную ограниченность, наблюдаемые как в оценке отдельных открытий, роли отдельных личностей, так и в осмыслении наследия целых научных школ, периодов развития. При этом уделяется недостаточно внимания проблеме формирования представлений о предмете и методе славяноведения, а именно она оказывается ключевой в изучении истории этой науки.

Вершинной точки кризиса историография славистики достигла в период создания и работы Международной комиссии по истории славистики, которая была учреждена на IV Международном съезде славистов в 1958 г. в Москве, что несколько десятилетий спустя было признано самими славистами [См.: Сибинович М. Некоторые актуальные вопросы современной славистики // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. М., 1995. С. 21]. В процессе подготовки Комиссией систематических исследований и будущих изданий оказалось, что не существует единого взгляда на то, что в действительности должно быть предметом этих исследований. На симпозиумах в Вене (1960) и Геттингене (1964) была

---

<sup>†</sup> Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-3684.2007.6.

сформулирована концепция, в соответствии с которой исследования по истории славистики должны быть посвящены, прежде всего, изучению «таких дисциплин, как славянское языкознание, славянское литературоведение, славянский фольклор и т.д.». Эта работа должна была привести к написанию всеобъемлющей «истории славянской филологии, составленной в виде энциклопедии, в которой будет уделено внимание как общетеоретическим вопросам, так и конкретным проблемам, как, например, деятельность выдающихся филологов-славистов», т. е. славяноведение искусственно превращалось в исключительно филологическую дисциплину, а «персональная» история славистики оказывалась механически оторвана от самого процесса развития науки, превращаясь в прикладную область историографии.

Лишь на симпозиуме в 1967 г. (Штиржин) вновь возобладало мнение, что историю славистики необходимо создавать, понимая, что славистика – это «комплекс», в который входят языкознание, литературоведение, история искусств, история славянских народов, история культуры. Однако не было предложено ни одной исследовательской стратегии, которая объясняла бы, *как* это сделать. Прения по этому вопросу, как и по вопросу о принципах отбора материала (история изучения общего или особенного в славянских культурах) продолжают до сих пор.

В 1990-е годы в результате актуализации исследования природы и истории национализма возникли предложения заменить в славистике этнический подход, например, на географический, что серьезно расширит контекст истории научных школ и методов [См.: Дюришин Д. Проблемы особых межлитературных общностей. М., 1993]. При таком подходе славяноведение, как и его история, полностью откажется от своего предмета. Однако подобные проекты весьма показательны для иллюстрации состояния науки и ее историографии. Они подтверждают наличие ситуации кризиса не меньше, чем непосредственный анализ материалов славистических съездов и комиссий.

Сам междисциплинарный замысел этой науки, сформировавшийся под влиянием метаидей эпохи, предполагает, что история славяноведения должна представлять собой междисциплинарные исследования стратегий создания славянской идентичности различными поколениями славяноведов в контексте интеллектуальной истории России и Европы. Уже в 1980–90-е гг. в Восточной Европе сложилась традиция изучения процессов взаимодействия научного сообщества с идеологическим строительством как составляющей проектов Национального возрождения славян [См., напр.: Macura V. Znameni zrodu. Cesko obrozeni jako kulturni typ. Praga, 1983; Kulecka A. Miedzy slowianofilstwem a slowianoznawstwem. Idee slowianskije w zyciu intelektualnym Warszawy lat 1832–1856. Warszawa, 1997]. Такой подход позволяет актуализировать для истории науки повседневность научной деятельности, раскрыть взаимосвязь между качеством научной коммуникации (диалог, кон-

фликт поколений, мифологизация истории науки) и интеллектуальной историей эпохи, сократить дистанцию между историографом и его героем, и, следовательно, найти истинные интенции создания тех или иных научных трудов и целых научных направлений, т. е. раскрыть суть самого проекта данной науки и ее предмета, который в современной славистике оказался практически утрачен.

Славяноведение формировалось в России и Европе в русле целого ряда интеллектуальных проектов «Национального Возрождения» славянских народов. Эти проекты опирались на идеи позднего Просвещения и формирующегося на рубеже XVIII–XIX вв. немецкого романтизма, на идеи порожденной Гердером философии языка, на основе которых и была создана идеологема национального строительства «язык – нация – государство». Концепция народа / нации, основанная на языковом единстве, легла и в основу науки о славянском мире, продиктовала структуру и целеполагание ее исследований. Поэтому построение славяноведами единого комплексного метода науки напрямую связано с конструированием славянской идентичности, и потому история метода, попытка его периодизации позволяет вскрыть интересующие нас механизмы и объяснить многие «темные места» истории славяноведения, как, например, внешне ничем не обусловленную остановку в развитии некоторых научных школ при переходе ко второму и третьему поколению славяноведов, разрывы научных традиций, реконструировать процесс специализации науки, противоречивые оценки его и т. д.

*О. В. Большакова* (ИНИОН РАН)

**Пересмотр старых парадигм:  
Американская русистика после распада СССР<sup>‡</sup>**

Падение Советского Союза оказало самое серьезное воздействие на американскую историческую русистику, которая долгое время не без оснований считалась детищем «холодной войны». С окончанием идеологического противостояния двух держав, в условиях так называемой «архивной революции» начинается новый период в развитии американской историографии России, отмеченный, с одной стороны, глубокими методологическими сдвигами в самой науке, с другой – приходом нового поколения историков, с иным мировоззрением и иной исследовательской повесткой дня. «Культурный» и «лингвистический» поворот ознаменовали торжество постмодернизма в этой прежде достаточно «старомодной» дисциплине, и на смену социальной пришла «новая культурная история», со своими аналитическими категориями, методами

---

<sup>‡</sup> Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 08-01-00116а.

и подходами, с ярко выраженным междисциплинарным характером. Революционная эпоха вызвала подъем ревизионистских настроений, и прежде характерных для американской русистики. Уже в начале 90-х годов на ряде конференций и симпозиумов ставятся вопросы о необходимости критического пересмотра всего, что писалось ранее, и отказа от устаревших представлений. В первую очередь речь шла, конечно, о так называемой «парадигме 1917 г.», которая к этому времени окончательно утратила свою аналитическую ценность, и таких политически нагруженных клише, как «тоталитарная модель» и «кризис самодержавия».

С распадом СССР революция 1917 г. перестала восприниматься как точка отсчета нового мирового порядка и главное событие в истории России, на котором основывались все объяснения ее прошлого и прогнозы ее последующей эволюции. Таким образом, из американской историографии неизбежно должны были исчезнуть многие существенные прежде для нее проблемы, в том числе «истоки русской революции», «кризис старого режима» и одна из его главных составляющих – «аграрный кризис». Под влиянием постепенного отхода от позитивизма, отказа от господствовавшей в русистике теории модернизации изменились общие представления о ходе исторической эволюции России. Теперь историки склонны к более позитивным интерпретациям, выявляя те факторы, которые обеспечивали многовековую устойчивость и процветание империи. «Новая культурная история», предопределившая интерес к языку и «дискурсу», вытесняет прежний детерминистский и телеологический подход к анализу прошлого России, которое ранее рассматривалось в рамках реального экономического и социального мира. Сегодня в американской русистике отмечается новое понимание класса, национальности и самого общества как «сконструированных понятий», а не объективных реальностей.

Присущее постмодерну критическое отношение к источникам позволяет историкам отойти от буквального понимания того, что писали современники исследуемых событий, и рассматривать эти тексты как часть дискурса (и это особенно важно для дисциплины, долгое время находившейся под сильным влиянием русской дореволюционной историографии, в первую очередь «государственной школы»). Не менее важны для современной американской историографии и категории культурной антропологии, которые привнесли в нее интерес к символическим моделям и репрезентациям

Так, перенос акцента с объективной реальности на «репрезентации» отмечается в изучении аграрной проблематики. Американские русисты обращаются к таким темам, как создание образов крестьянства в среде российской элиты и формирование специфического дискурса, который оказывал влияние не только на современников, но и

фактически сформировал всю историографию. Они показывают, что не только российские марксисты, но и либералы, и консерваторы разделяли общую для XIX в. убежденность в «отсталости» и «темноте» крестьянской массы, которая не поддается усовершенствованию и сопротивляется реформам. При этом отмечается, что «культурная пропасть» между образованной, «европейской» Россией и «отсталым» традиционным крестьянством сильно преувеличивалась современниками и по своим масштабам мало отличалась от западноевропейских стран. Конечно, в современных работах американских историков заметна некоторая «демонизация» образованной («европейской») части общества, которая своим негативным отношением к крестьянству отрезала пути к конструктивному диалогу. В то же время критический взгляд на идеологические модели, циркулировавшие в российском политическом дискурсе, оказывается чрезвычайно полезным для освобождения от застарелых стереотипов. В частности, поставлены под вопрос представления о «закрытости» русской деревни, о «сегрегации» крестьянства, живущего в соответствии с вековыми обычаями и отторгнутого от общегражданской жизни в результате реформ 1860-х гг.

Новый угол зрения позволил кардинально изменить подходы к изучению русской революции и отойти от идеологических сражений прежних лет, когда соперничали две противоположных интерпретации Октября («победоносное восстание масс» и «заговор»). Историки сегодня подчеркивают мифологический характер Октябрьской революции, сосредоточивая свой анализ не на самом событии, а на том, как оно «конструировалось постфактум» и приобретало характерные черты легитимирующего нарратива об основании государства (“*foundation narrative*”). Рассмотрение таких тем, как революционные праздники, создание музеев и выставок, искусство кино и написание школьных учебников, позволяет продемонстрировать, как постепенно в нарративе о революции, создаваемом победителями-большевиками, происходит выделение ключевых символов и сюжетов, и историческое повествование о рождении пролетарского государства поднимается на уровень мифа.

Что касается «тоталитарной модели» в применении к изучению истории России, ее места и роли в американской историографии, то эта проблема требует отдельного рассмотрения. Следует лишь упомянуть, что в настоящее время эта модель представляет интерес для молодого поколения американских русистов, скорее, в рамках изучения истории понятий, чем как аналитический инструмент историка.

**Опыт полидисциплинарного исследования  
интеллектуальных сообществ: коллегии Украины в XVIII веке**

Взгляд на учебные заведения как интеллектуальные сообщества обуславливает прекрасные возможности исследовать их с использованием широкого набора методов ряда исторических (и не только) дисциплин. Учебные институции являются удачным объектом для применения совокупности подходов (в разном их сочетании), выработанных интеллектуальной и культурной историей, историей ментальностей, повседневности, компаративистикой, просопографией (с использованием компьютерных методов обработки биографических баз данных). К тому же, если учебные заведения существовали в переходное время, на рубеже эпох, да еще и на границе соседствующих культур и традиций, широко взаимодействуя с местным обществом, при их изучении могут быть апробированы возможности полидисциплинарных исследований.

В этом отношении интересным объектом исследования являются православные коллегии Украины конца XVII–XVIII вв. Эти учебные заведения функционировали в переходный период, для которого характерен определенный синкретизм, сосуществование и тесное взаимодействие средневекового наследия (византийско-славянского и западной неосхоластики) с элементами Ренессанса и раннего Просвещения. Православные коллегии, возникшие на пересечении восточной и западной культурно-образовательной и церковно-исторической традиций, представляют не только образовательный, но и культурный феномен.

Взгляд на коллегии Украины XVIII в. как интеллектуальные сообщества с необходимостью включает выявление эволюции идей, а также идейных комплексов, которые репрезентовали коллегии как учебные и отчасти научные центры. Кроме того, изучение этих учебных заведений в переходный период (ведь XVII–XVIII вв. – это эпоха становления науки), дают возможность проследить изменение условий и форм интеллектуальной деятельности. Еще одним творческим заданием при изучении коллегиев является исследование того, как переплетались там традиции и новации, а именно, взаимодействия (взаимопроникновения) духовного и светского, религии и науки в коллегиях, как синкретических по своему содержанию структурах. Кстати, западноевропейский университет (с непременным богословским факультетом) также демонстрировал это сочетание, что дает возможность применения компаративистского подхода при изучении близких по содержанию явлений интеллектуальной деятельности.

Задача исследования коллегиев как интеллектуальных сообществ с необходимостью ставит и проблему изучения более широкого социокультурного контекста, в котором они находились. К тому же, эти

учебные заведения сохраняли на протяжении всего XVIII в. всеобщий характер и были ориентированы на широкие просветительские задачи, далеко выходящие за рамки подготовки церковнослужителей. Это отличало их от других духовных школ Российской империи XVIII в. Широкие возможности применения методов культурной истории открываются при исследовании составных элементов западноевропейской образовательной традиции, которую сохраняли и развивали коллегии. Особенно важным представляется изучение креативной адаптации этой традиции к новым социальным условиям имперской жизни. Провинциальные коллегии интересны именно тем, что представляют сплав народной культуры (казацкой, вольной, пережившей глубокие социальные потрясения середины XVII в.) и элитарной (чтобы ее воспринять, преподаватели коллегий нередко ездили учиться в западноевропейские университеты). В результате, в повседневную жизнь провинциальных центров, в которых существовали коллегии, были привнесены элементы западноевропейской университетской культурной традиции (учебные ритуалы и практики).

Изучение повседневных практик коллегийского города позволяет реконструировать «каналы связи», по которым шло взаимодействие учебных заведений с местным обществом. Так можно приблизиться к реконструкции коллективной идентичности, формирование которой определяли как отношения внутри преподавательской и ученической корпораций, так и разнообразные и разноуровневые контакты с обществом. Коллегии Украины XVIII в., находясь в составе Российской империи, демонстрируют прочное укрепление на местной почве «западного образца» в организации и содержании образования, удивительным образом выдерживая натиск новой социальной действительности, выполняя важные социальные функции, в том числе в виде «клапанов» сброса социального напряжения.

Реконструкция указанных интеллектуальных сообществ предполагает создание также и коллективного портрета «интеллектуала»-коллегиумца. Это возможно в ходе применения просопографических методов. Составление базы биографических данных преподавателей провинциальных учебных заведений Российской империи XVIII в., в данном случае коллегий, дает возможность из тысячи мелких фактов биографий провинциальных преподавателей выстроить собирательный образ, строящийся на основе достаточно разработанных (и апробированных) показателей. Получившийся коллективный портрет преподавателя коллегий XVIII в. (проанализировано более 100 биографий) позволил несколько иначе представить личность интеллектуала данного времени, творца местной региональной культуры.

Очевидно, что исследовательские задания, которые и сегодня зачастую ориентированы на изучение «учебно-воспитательного процесса», выглядят более «тусклыми» по сравнению с теми захватывающими возможностями, которые открывают полидисциплинарные исследования истории учебных заведений.

**«Глобальная история» и «плотное описание»  
в исследовании советской интеллигенции**

Понятие «глобальной истории» или «тотальной истории» связано с теорией «тотального социального факта», подчеркивавшей тесное переплетение и существенное функциональное единство разных сторон человеческой жизнедеятельности в обществе. Метод «плотного описания» нацелен на выявление социальной реальности, присутствующей в сознании людей определенной эпохи и в значительной мере определяющей все их поступки (А. Я. Гуревич). Сложность и многомерность интеллигенции как объекта исследования определяет использование комплексного подхода к познанию историко-культурных явлений, позволяющего применять достижения различных исследовательских направлений, имеющих свою сферу изучения. В рамках системного подхода исследуются место и роль интеллигенции в системе общественных отношений. Анализ государственной культурной политики, форм и методов складывания советской интеллигенции показывает объективную форму культуры. Восприятие, понимание интеллигенцией происходящих процессов, самосознание, определение своего места и роли представляет субъективную форму. Исторический аспект системного анализа интеллигенции требует выяснения как процесса ее формирования в конкретной социально-исторической среде, так и ее деятельности, устремленной на преобразование этой среды.

Определить динамику социального состава, уровни и механизмы деятельности, представления о мире интеллигенции позволяют структурный и семиотический подходы.

Традиции изучения истории ментальности в сочетании с историко-антропологическим подходом определяют конкретные научно-исторические формы анализа особенностей миропонимания и самосознания интеллигенции.

Историко-антропологический подход в рамках социально-исторического направления, фокусирует внимание не только на социальных структурах или на человеческом сознании и поведении, но выявляет способ взаимодействия тех и других в развивающейся общественной системе и изменяющейся культурной среде, которая эту систему оправдывает и поддерживает. Кроме того, данный подход позволяет полнее изучить влияние интеллигенции на политическую, экономическую и идеологическую ситуацию в обществе.

Теория синергетики, понимающая историю как процесс, протекающий «с вмешательством мыслящего существа», нацеливает на изучение важнейшего объективного элемента исторического процесса – механизма сознательного выбора. Особенность исторических законо-

мерностей состоит в том, что понять их, исключив сознательную деятельность людей, нельзя. Особенно показательным в этом отношении является творческое мышление.

При таком подходе значим анализ того, как представляет себе мир «человеческая единица», которой предстоит сделать выбор, в частности, восстановление присущего людям прошлого способа восприятия действительности, реставрация свойственных им возможностей осознания себя и мира, воссоздание особенностей рефлексии. В этой связи одним из способов реконструкции определенного этапа в развитии истории является использование семиотического подхода.

Для анализа представлений интеллигенции о мире используется как структурный, так и семиотический подход, в частности, положение о том, что одним из наиболее общих признаков культуры может считаться наличие в ней основополагающей границы, которая делит пространство на две различные части.

*М. А. Мамонтова* (Омский ГУ)

### **Проблемы трансляции «Истории российской повседневности» в образовательной практике**

В современном социогуманитарном знании обозначились различные подходы к познанию прошлого. Одним из наиболее популярных направлений исторических исследований в отечественной науке является история повседневности. «История повседневности возникла на волне очевидного самоисчерпания позитивистских приемов работы с источниками и устаревания прежних объяснительных парадигм (марксистской, структуралистской)» (Н. Л. Пушкарева). Однако это новое направление так и не смогло занять пока прочных позиций в университетах, не говоря уже о системе школьного образования. Пытаясь разобраться в причинах обозначенной ситуации, обратимся к проблемам адаптации этого нового научного направления к учебному процессу.

Признавая необходимость не только исследования повседневной жизни общества, но и трансляции современных наработок исторической науки в студенческой аудитории, авторы выбирают свой собственный ракурс. Особый интерес у студентов вызывает история российской повседневности, что характерно не только для будущих историков, но и для естественников и для гуманитариев в целом. История повседневности, являясь по большей части областью микроисторических исследований, чей методологический аппарат находится в процессе формирования, несмотря на доступность представленного здесь исторического материала, требует значительных усилий от преподавателя для его систематизации в процессе обучения. Некоторые учебные пособия [Российская повседневность: от истоков до середины XIX века

/ Под ред. Л. И. Семенниковой. М., 2006] и обобщающая литература [Овсянников Ю. М. Картины русского быта. Стили, нравы, этикет. М., 2000] отдают предпочтение в основном т. н. «дореволюционной» истории России, не включая более красочную и многогранную советскую повседневность. И это первая трудность, с которой приходится сталкиваться при подготовке учебного курса, посвященного «Истории российской повседневности». Советский период истории не так давно стал одним из приоритетных направлений исторических исследований, где активно используется микроисторический инструментарий, причем на основе обширного комплекса источников (в т. ч. устного происхождения). Советская повседневность представлена в целом комплексе исторических работ, каждая из которых посвящена одному из этапов истории России в XX в. Среди них можно выделить такие смысловые единицы: «революционная» повседневность и повседневность периода гражданской войны, 1920-е гг., «сталинская» повседневность, военный быт или военная повседневность, повседневная жизнь периода «позднего сталинизма», повседневность периода «хрущевской оттепели», советская повседневность в период «застоя», изменение жизненного уклада советских граждан в годы «перестройки», потеря жизненных ориентиров и поиск новых форм повседневной жизни в 1990-е гг., особенности современного уклада российских граждан. Отметим, что для формирования источниковой базы по последним трем темам можно привлечь самих слушателей. Это позволит студентам не только на практике познакомиться со спецификой исторического исследования, но и овладеть некоторыми методами «устной истории».

Вторая важная проблема трансляции историко-повседневных наработок в области российской истории связана с методологическими особенностями этого направления, где неизбежно возникает трудность обобщения и систематизации многообразных, часто взаимоисключающих данных, раскрывающих внутреннюю неоднородность и изменчивость повседневной жизни. Авторы учебных пособий подчас предлагают не совсем удачную группировку материала, в которой отсутствует системообразующий фактор, и которая скорее предлагает вспомогательный материал для изучения русской культуры, чем российской повседневности. У студентов при знакомстве с новыми пособиями вполне закономерно возникает вопрос об отличиях между историей русской культуры и историей российской повседневности.

Большинство исследователей повседневности, понимая, что исследовательский процесс должен обязательно сопровождаться реконструкцией отдельных элементов в единую систему взаимосвязей, с необходимым сочетанием методов микро- и макроанализа, тем не менее, стараются избегать выделения критериев подобной систематизации. Один из возможных вариантов предлагает Л. Н. Новикова в монографии «Повседневность как феномен культуры» (Саранск, 2003). Автор,

выделяя вслед за Ф. Броделем структуры повседневности, конкретизирует их: «Это способы организации и оформления пространства человеческой жизни (архитектура, градостроительство, ландшафт, организация интерьера), поведения и общения (обряды, обычаи, традиции, ритуалы, этикет), предметного мира («система вещей» Ж. Бодрийяр), мода, реклама» (С. 9). Вполне соглашаясь с подобной систематизацией, попробуем несколько адаптировать ее к учебному курсу «История российской повседневности». В качестве важных критериев, отражающих эволюцию российской повседневности на протяжении нескольких веков, можно выделить: во-первых, миропонимание или мироощущение (духовный мир) человека соответствующей эпохи, устоявшуюся систему ценностей, во-вторых, пространственно-временные координаты повседневности, которые условно можно обозначить как «место жизни» (жилище, одежда, утварь и т.д.) и «время жизни» (распорядок дня, праздники, семейный уклад и др.).

Медленное проникновение историко-повседневных исследований в учебный процесс связано в первую очередь с особенностями самого научного направления, ориентированного на многообразие проявлений человеческой индивидуальности. Поэтому создание целостного курса по истории российской повседневности возможно лишь при жесткой систематизации всего разнообразного исторического материала, может быть, даже в ущерб красочным подробностям историко-научных исследований, а также при наличии достаточного количества учебных пособий, хронологически охватывающих всю историю России и выводящих читателя на осмысление особенностей современной повседневности.

*Л. М. Макарова* (Сыктывкарский ГУ)

#### **Нацизм в культурном пространстве Германии (1920–1945 гг.)**

Попытки взглянуть на мир нацизма с позиций культурной, а не политической истории позволяют более глубоко проанализировать и понять его проявления. Культурное пространство Германии 1920–1945 годов, в котором нацизм оказывался хотя и доминирующей, но лишь одной из составных частей, оставалось единым в силу относительной общности предшествующего национального развития. Особенность культурной ситуации в Германии в межвоенный период заключалась в нерешенности вопроса национальной самоидентификации. Формирование представлений о самих себе, как и культурное пространство в целом, также характеризовались раздробленностью на отдельные элементы с разной степенью их взаимного отталкивания. Это дает возможность исследовать культурное проявление нацизма как один из вариантов межкультурной коммуникации.

Лидеры нацизма, набиравшего силу реакционного движения, в 1920–1933 годов., стремясь консолидировать население для выполнения своей политической программы, обратились как к наиболее плодотворной именно к идее национального единства. На первый план было выдвинуто своеобразно понятое тождество внешней и внутренней сущности немцев, обоснованное не языковой общностью, а единством крови, якобы находящим выражение в единстве внешности и мировоззрения индивида. Это казалось достаточным критерием для самоидентификации, различения «своих» и «чужих». По нацистской интерпретации, безусловно, немецкой должна была стать именно культура, через освоение которой внедрялись представления о культурной идентичности или неприемлемости индивида, начиная с уровня его антропологической значимости.

Основным объектом исследования в этом случае оказывался человек, находящийся в тех или иных отношениях с «другими», а главным средством коммуникации по-прежнему оставался язык, но рассматриваемый более широко, в символическом проявлении, как структурно сложный «язык культуры», включающий всю совокупность вербальных и невербальных способов общения.

Нацистское обозначение пространства подразумевает как реальный, так и виртуальный мир, растягивая последний до масштабов Вселенной. Основное внимание привлекают способы своеобразной перекодировки этого безмерного пространства, использование для этой цели как собственно лингвистических средств (с обычными для любого нового режима переименованиями), так и экстралингвистических – с возведением культовых и иных сооружений, временных или постоянных. В результате, пространство приобретает способность сжиматься или растягиваться, а вопрос о степени доминирования тех или иных его частей приобретает в этих условиях исторически обусловленный характер. Повышается роль языка восприятия и отражения пространства, моделируемого в соответствии с новыми целями – поощряются методы интерпретации, характерные для массовой культуры, с ее низведением сложных вопросов бытия к набору элементарных обозначений расовой чистоты и идеологического соответствия.

Даже в пределах нацистских концлагерей с их детальным разграничением пространства в зависимости от целевого назначения (расположение газовых камер или помещений, предназначенных исключительно для расовой элиты) конкретное пространство не могло расцениваться чисто функционально, и границы были условными.

Одним из ведущих элементов, характеризующих культурное пространство, является язык времени, или пространства движущегося. В первую очередь учитывается время культурной направленности, и в нем прошлое, как основная культурная ориентация нацистов, приходит

в противоречие как с германским настоящим, так и с собственными нацистскими завоевательными программами, а также с магистральной ориентацией европейской культуры на будущее. Эта нацистская направленность создает из времени замкнутый круг, сообщая культуре мифологическую неопределенность. Одновременно при помощи технических способов фиксации времени, формирования уровня постановочности пропагандистских мероприятий, создается возможность произвольно варьировать длительность одних и тех же событий. Такой метод был характерен для парадов, съемок как фронтовой, так и тыловой документалистики, для крестьянских псевдорелигиозных шествий. Сохраняли свою роль и социальные спектры времени.

В нацистском пространстве сталкивались, с одной стороны, тысячелетний рейх как калька библейского «тысячелетнего царства», с другой – языческий миф ариев. Сформированный таким образом гностический принцип приводил к единому результату – антиисторичности нацистского культурного пространства, создавался мир с явным доминированием смерти как пространства вне времени. Культура нацистской Германии по мере ее поражения все более приобретала черты нежизни, ориентацию на самоуничтожение.

В период нахождения нацизма у власти (1933–1945 гг.) столкновения внутри культурного пространства, обусловленные его расширением за пределы Германии, приобретают дополнительные черты. Особым характером отличается коммуникационные характеристики оккупированных стран, в частности, Польши, на территории которой размещались лагеря уничтожения, и где происходило столкновение нескольких этносов в одинаково чуждом им культурном пространстве. Именно здесь применимо понятие «культурного шока», при помощи которого часто описывается состояние у вновь прибывших в концлагерь заключенных из третьих стран. Агрессивное столкновение культур, формировавшихся в различных исторических условиях, дополняется политической программой уничтожения любой расово чуждой культуры, вне зависимости от ее проявлений.

С этой точки зрения, начальный и конечный этапы истории нацизма оказываются в состоянии противодействия. Существенное их различие заключается в том, что период войны включает стремление нацистов диктовать свое культурное кредо населению завоеванных стран, борьба которых за сохранение национальной культуры составляет главное содержание антинацизма. Алгоритм взаимодействия противостоящих культур включает колебание – от уничтожения к возрождению, с одной стороны, и от насильственного внедрения к полной бесперспективности за счет попыток моделирования языка культуры, – с другой.

**Искусство эпохи сталинизма  
в контексте западной художественной культуры XX века**

История изобразительного искусства XX в. переживает период ревизии многих устоявшихся, когда-то казавшихся незыблемыми, постулатов. Один из них заключался в идее противопоставления и принципиальной несопоставимости художественных процессов, протекавших в 1930–1950-е гг. в странах с тоталитарными и демократическими политическими режимами. Официально признанное, легально обращающееся искусство в сталинском СССР, нацистской Германии или фашистской Италии рассматривалась на Западе как аномалия, отклонение от некоего магистрального пути, как особый – тоталитарный – тип культуры, имеющий мало общего с развитием пластических искусств во Франции, США или Великобритании. Закономерным итогом размышлений в рамках подобной картины мира является представление о «непреодолимом отставании» русского искусства от Запада [см., напр.: Сарабьянов Д. Россия и Запад. М., 2003. С. 290] и существовании «магистрального пути» художественной культуры в XX столетии. Считалось, что вектор этого движения был направлен от реалистических форм художественного мышления к авангардным – беспредметным, концептуальным, акционистским – художественным практикам. С официальной точки зрения советской «культурологии» (хотя этот термин в СССР не использовался, а попытки анализа художественных процессов в основном представляли собой манифестации нормативной эстетики и идеологии), девиацией, эксцессом, напротив, считалось развитие искусств в Западной Европе и Америке. В ходе «архивной революции» 1990-х гг. и краха системы социализма было обнаружено и включено в историографическое пространство множество документов, свидетельствовавших в пользу подобных изоляционистских подходов.

Вместе с тем, падение железного занавеса обнаружило немало свидетельств, позволяющих провести аналогии между художественной практикой «тоталитарных» и демократических обществ. Действительно, и до, и после второй мировой войны в художественной практике советского и западноевропейского искусства обнаруживается немало общих черт. К таковым можно отнести социальный активизм и хождение художников во власть, универсальные приемы политической агитации и пропаганды, имперские тенденции «историзма» в архитектуре, программные тексты художественных группировок, однотипную тематику и схожие стилистические приемы художественных произведений. Универсалией социального и культурного развития в обществах с различным социально-политическим укладом и культурными традициями

стало распространение идеалов потребительства, а также вовлечение искусства в рекламные технологии.

Отнюдь не случайно в современной российской и зарубежной историографии появляется все больше сторонников идеи существования наднациональных тенденций социального развития, в которых предлагается искать истоки близости искусства, разделенного не только пространством, но идеологическими и политическими барьерами. Некоторые исследователи называют эти тенденции «консервативной реакцией мировой культуры» (Т. А. Круглова), другие – «универсальной логикой модернизации» (К. Келли, Д. Хоффман), «реализмами XX века» (А. Морозов). Мне представляется, что именно второй подход позволяет избежать эмоциональных оценочных суждений и вписать многочисленные национальные варианты «соцреализмов» в контекст глобальных социокультурных трансформаций.

Среди многих взаимосвязанных процессов, превращающих мир художественной культуры различных стран в пространство с внешне сходными и внутренне близкими характеристиками, одним из первых по значимости следует назвать трансформацию искусства в массовое художественное производство. Следствием чего стала не только «техническая воспроизводимость» всех видов искусств, но и вовлечение в художественный рынок все новых и новых действующих лиц, в том числе демоса городов и деревень. Закономерным результатом демократизации и массовизации арт-рынка оказалась ориентация создателей художественных объектов на вкусы и предпочтения «простого массового зрителя». Эти вкусы по обе стороны железного занавеса отличались традиционализмом, т. е. ориентацией на узнавание, похожесть, «живо-подобие», повествовательную занимательность и т. д.

Важнейшим фактором универсального характера явилось активное вмешательство государства в художественную жизнь (в виде госзаказов, прямого финансирования художников в условиях экономических кризисов и войн, официальной поддержки эталонов нормативной эстетики, этической и эстетической цензуры). Принимая патернализм такого рода, искусство неизбежно становилось на службу интересам государства. Эти интересы в первой половине XX в. были схожи и определялись логикой модернизационных процессов. Государство нуждалось в решении задачи массовой политической и экономической мобилизации граждан, политической социализации детей, рекрутирования женщин на производство.

Для первой половины XX в. были также характерны взаимосвязанные процессы эстетизации политики и политизации мира искусств. Взрывным образом происходила экспансия визуальных образов во все сферы жизни, вырабатывались универсальные приемы визуальной пропаганды и манипулирования общественным мнением с помощью зри-

мых образов (технологии создания отгаликивающих изображений врагов, рекрутинговых жестов и т. д.).

Низкие стандарты жизни демоса городов и деревень (особенно в годы великой депрессии, второй мировой войны и послевоенной разрухи), популярность эгалитарных идеалов «великой мечты социализма», идеалов массового рабочего и женского движений создавали социальный контекст, в котором возникали близкие по тематике, ценностям и целевой аудитории произведения пластических искусств.

Конечно, некорректно преувеличивать степень родства художественных процессов, проходивших по разные стороны «железного занавеса», но и полностью игнорировать присущие им черты сходства также неправомерно.

*Б. Е. Степанов* (РГГУ / ГУ-ВШЭ)

### **Изучение евразийства: от критики идеологии к интеллектуальной истории**

Одним из значимых атрибутов интеллектуальной истории является рефлексивное отношение к тому, как исследователь соотносит себя с объектом своего исследования. В этой перспективе я хотел бы рассмотреть конфигурацию различных подходов, сложившуюся сегодня в изучении евразийства. Будучи возвращено в актуальный культурный горизонт на волне интереса к наследию Серебряного века и эмиграции, евразийство не только превратилось в одну из влиятельных политических идеологий, но стало референтом ряда топосов расхожего дискурса, разделяемого как журналистами и политиками, так и многими представителями академического сообщества. Это делает необходимой рефлексию в отношении познавательных стратегий исследователей евразийства и контекста, в котором существует порождаемое ими знание.

Анализ сформировавшегося в 1990-х – начале 2000-х гг. корпуса исследований показывает, что в них доминирует определенная модель описания евразийского учения. Во-первых, оно осмысливается преимущественно в рамках историософии, как ответ на некие глобальные вызовы русской и мировой истории. Во-вторых, сама стратегия осмысления связана с попыткой представить это учение как целостную систему – вне многообразия позиций, социальных контекстов и связей, определявших существование классического евразийства. Эти установки объединяли и тех, кто представлял евразийство как актуальную идеологию (А. Дугин), и тех, кто пытался придать ему академическую респектабельность (А. Панарин, И. Орлова), но также и тех исследователей, которые предпринимали попытки сформулировать принципиальную критику евразийского учения. Эта критика могла принимать самые разные формы: идеологического отторжения основоположений

евразийства, поиска в нем логических противоречий, наконец, морального оправдания отдельных представителей евразийства на фоне общей политической коррумпированности учения (В. Топоров, А. Соболев). Наиболее адекватная стратегия критики обращена не к классическому евразийству, но к евразийству современному как одному из проявлений феномена, получившего название историософии (Г. Зверева). Объектом критики здесь становятся рутинизированные исторические конструкции (в их числе и те, что были заимствованы из классического евразийства), которые образуют сегодня каркас идеологизированных версий интерпретации истории, как консервативных, так и либеральных. Евразийство становится уже не просто объектом идеологической критики, но входит – хотя бы и негативным образом – в саморефлексию современной исторической науки, позволяя отделять научно-релевантные построения от банальностей, прагматика которых к науке отношения не имеет. Однако в отношении классического евразийства критический анализ его как системы приводит к стилизации и порождает анахронизмы – даже в рамках такой теоретически обоснованной реконструкции, которую мы находим в посвященной евразийству книге М. Ларюэль.

Оборотной стороной негативного (т. е. идеологического) статуса евразийства можно считать представление об исчерпанности его как предмета изучения для истории идей. Из этого вытекает невозможность для исследования евразийства быть сегодня частью научного фронта. Эта ситуация обусловлена, на мой взгляд, недифференцированностью контекста, в который помещается эта интеллектуальная традиция. По контрасту с интенсивной идеологической востребованностью евразийства до начала 2000-х гг. оно практически не стало объектом истории науки, истории эстетической мысли, истории религиозности, не говоря уже о том, что и собственно социальная история евразийства также все еще очень слабо разработана. Разумеется, важным противовесом против идеологизации евразийства были конкретные исследования историков мысли, направленные на подробную реконструкцию различных аспектов деятельности участников движения, которые, правда, известны лишь небольшому кругу специалистов. Важной тенденцией 2000-х гг. стало появление исследований евразийства, в которых проблематизировалось отношение между его политическими, эстетическими и научными аспектами. Показательно, что предметом рефлексии в этой ситуации оказалась не только деятельность представителей классического евразийства, но и отношение к нему современной науки.

В качестве образцов исследования, в рамках которых интеллектуальная традиция евразийства приобретает новый статус, я бы хотел указать на книгу Патрика Серио «Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920-30-е гг.» (М., 2001) и статью Марка фон Хагена «Империи, окраины и диаспоры: Евразия как антипарадигма для постсоветского периода» [Ab imperio. 2004. № 1. С. 127-169], сходные, несмотря

на разницу дисциплин, жанров и подходов, в способе работы с объектом. Показательно, что и в том и в другом случае евразийство не берется исключительно в его идеологической ипостаси: для обоих авторов оно вписывается в историю дисциплины. Это не означает, что они закрывают глаза на эту идеологическую ипостась. Исследуя отношение идеологии к науке, они видят их соотношение как неоднозначное. Так, анализируя творчество Трубецкого (классика структуралистской мысли и, одновременно, лидера евразийцев) Серию показывает, каким образом плодотворной почвой для формулировки структуралистских тезисов оказалась работа по созданию евразийской идеологии. Вывод о стимулирующем воздействии идеологии на науку имеет у Серию междисциплинарные и межнациональные проекции: для прогресса лингвистики были важны исследования «русского географического мира», стремление к формированию специфически русской науки стало вкладом в науку мировую. М. фон Хаген показывает, в каком смысле классическое евразийство предвосхищает постколониальную историю империй, четко оговаривая его идеологическую предвзятость. Проблематичность отношений между наукой и политикой является импульсом к историзации классического евразийства, к рассмотрению его в разных социальных и интеллектуальных контекстах. Вместе с тем, обращение к наследию евразийцев приобретает *критический* смысл – в контексте методологической саморефлексии современной науки, значимой как для отечественной, так и для западной интеллектуальной традиции. Речь идет об анализе метафор и концептуальных оснований: в одном случае – сравнительного языкознания, в другом – истории России в американской науке. Вместе с углублением понимания евразийства как исторического феномена становятся ощутимыми и механизмы смыслополагания в рамках той самой науки, в которой действуем и мы сами.

*В. В. Дубовицкий* (Республика Таджикистан)

#### **Представления русской диаспоры в Средней Азии как составная часть современной российской иконографии**

Концепция иконографии пространства (территории), представляющая собой выражение представлений об окружающем мире, является одним из плодотворных, но мало разработанных методов современной геополитики [Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М., 2001, С. 86-87]. Особый интерес представляет иконография диаспор как часть общенациональной иконографии, оторванная от этнического ядра, где она формировалась, и воспроизводимая инерционно в чуждой ей среде страны проживания.

В результате развала СССР более 25 млн. русских, а также несколько миллионов других российских этносов (автор считает российскими те этносы, которые имеют национально-государственные обра-

зования на территории современной РФ) оказались жителями новых независимых государств (ННГ) и судьба российской диаспоры в странах СНГ стала важным элементом геополитики (как РФ, так и стран СНГ) на ближайшую и долгосрочную перспективу [Зевелев И. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве // Россия в глобальной политике. 2008. Т. 6. № 1. С. 33]. Русская – и шире российская – диаспора Средней Азии (автор сознательно не использует термин «Центральная Азия» из-за размытости этого понятия в современной историографии и политологии и понимает под Средней Азией новые независимые государства – Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, титульные нации которых считают ислам своей историко-культурной основой) на момент распада Советского Союза насчитывала примерно 5,4 % от общей численности населения стран региона. Данное процентное соотношение меньше подобного же показателя на 1897 г., когда оно составляло 9,79 % «православных», включавших в себя славянское население Туркестанского края [Дубовицкий В. В., Мальцев Ю. С. Русские православные в Туркестане (конец XIX – начало XX вв.) // К истории христианства в Средней Азии XIX–XX вв. Ташкент, 1998. С. 163]. За прошедшие шестнадцать лет численность российской диаспоры в регионе сократилась почти вдвое: на начало 2007 г. она насчитывала только 5,5-5,7 млн. чел. [Шустов А. Сколько русских осталось в Средней Азии? // Единство и разнообразие. 2007. № 4. С. 27]. Особенно резкое сокращение произошло в Таджикистане: с примерно 500 тыс. чел. до 90 тыс. чел. в 2000 г. В настоящее время ее численность не превышает 50-53 тыс. чел.

Необходимо отметить, что для любой диаспоры, проживающей в иноязычной, инокультурной и иноверческой среде (например, для таких «мировых» диаспор как армянская, китайская, еврейская и др.), характерна своеобразная саморефлексия и оценка своей истории с точки зрения событий, приведших к отрыву ее от этнического ядра (или разрушения его в результате социальных катаклизмов) и адаптации ее к условиям страны проживания [Полоскова Т. Современные диаспоры: внутривосточные и международные аспекты. М., 2002. С. 74-75]. Постепенно второй из перечисленных исторических аспектов становится в диаспоральной истории доминирующим, вытесняя первый в область легенд, преданий или религиозной жизни (например – в иудаизме). Часто иконография диаспоры отрывается от реальной почвы, которая ее породила много веков или даже тысячелетий назад, воспринимается инерционно, поддерживая жизнь десятков поколений соотечественников, проживающих в «рассеянии», мобилизуя и легитимируя их деятельность мифами. Среди примеров по данному вопросу – колонизация Новой Зеландии англичанами, обустроившими страну по готовому образцу; во многом – колонизация Американского континента (с «нью»-Йорками, Орлеанами и т. д), а также русских, освоивших Си-

бирь, Дальний Восток и, в меньшей степени, Среднюю Азию и принесших туда свой образ жизни, свою систему символов.

В этом смысле интересен опыт жизни в Средней Азии наиболее ранних групп русской диаспоры – так называемых «старожилов», славянского населения, прибывшего сюда во второй половине XIX в. в нескольких «волнах» крестьянского переселения. Исследователи старожильческих групп населения региона единодушны во мнении, что их характеристики и оценки в сложении собственного образа, достаточно единообразны и типичны [Брусина О. И. Славяне в Средней Азии. М., 2001, С. 134]. В целом, в нем преобладали положительные черты, составлявшие стереотипный образ всей группы, передававшийся из поколения в поколение. Он характеризуется высокой самооценкой, выраженной в эпитетах «трудолюбивые», «решительные», «прогрессивные». Еще одно качество, отмечаемое представителями старожильской части – сохранение национальной культурной чистоты и религиозности. По мнению диаспорологов, объективная причина этого – культурное давление иноэтнического окружения, включающее защитные механизмы самоизоляции. Один из результатов действия этих механизмов, препятствующих разрушению группы и ее ассимиляции – обострение этнического самосознания старожилов, повышенное внимание к национальным проблемам. В автостереотипах этой части диаспоры закрепляются как этнические символы многие элементы их культуры и быта. Часть из них малозначительна для большинства жителей России и Украины, но благодаря своей несхожести со среднеазиатскими обычаями приобретает особый смысл. Потомки русских переселенцев отстаивали сохранение местной русской топонимики, старинных переселенческих построек, выступали за то, чтобы в сохранившихся церковных зданиях вновь шла служба. Они хорошо знали историю переселения своих предков, высказывали пожелание организовать музей.

Групповому самосознанию соответствует объединяющее старожилов отношение к региону, где родились они сами и их родители, как к своей родине. Как родные воспринимаются среднеазиатская природа и климат. Подобное отношение к региону появляется у представителей русской диаспоры в Средней Азии уже через 10-15 лет после переезда и заметно ускоряется в случае их постоянного контакта с природой края. Долгое время эта привязанность старожилов к своей малой родине и внутригрупповая сплоченность были важными факторами, сдерживающими их миграцию. Если же миграция все же происходила, то она была коллективной: люди ехали в один и тот же населенный пункт, где между переселенцами сохранялись прежние отношения.

## Часть V. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

*П. С. Куприянов* (Институт этнологии и антропологии РАН)

### **Реконструкция повседневности в интерьерном музее: проблемы восприятия и освоения прошлого**

В докладе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с восприятием прошлого в историческом музее интерьерного типа. Основным источником для рассмотрения данных вопросов являются материалы личного наблюдения и отзывы посетителей филиала ГИМ «Палаты в Зарядье» – старейшего московского музея, расположенного в палатах XVII века на территории бывшей усадьбы бояр Романовых на Варварке. Комплексная экспозиция музея, построенная по интерьерному принципу, нацелена не просто на демонстрацию памятников XVII века, но на воссоздание обстановки и бытового уклада богатого боярского дома допетровского времени. Таким образом, музей представляет собой организованное пространство для *реконструкции повседневности* представленной эпохи.

Среди прочих видов и форм музейной реконструкции центральное место занимает предметная экспозиция. Именно она наиболее полно отвечает главному требованию научно-исторической реконструкции – *достоверности* сообщаемой информации. По мнению музейных специалистов, подлинность предмета является источником глубокого воздействия на зрителя и одновременно служит залогом адекватного отражения истории. Специально отобранные и расставленные вещи образуют экспозиционный ансамбль, который, в сущности, представляет собой визуальный текст, подлежащий прочтению посетителем и призванный сформировать у него адекватное представление о быте московских бояр и способствовать межкультурному диалогу между прошлым и настоящим.

Однако выполнение этой задачи оказывается сопряжено с целым рядом трудностей, обусловленных часто недооцениваемой сложностью музейной коммуникации, в частности, особенностями визуальной перцепции. Современные исследования показывают, что процесс коммуникации не ограничивается лишь передачей информации от отправителя получателю, но включает также весьма активные действия последнего, направленные, в первую очередь, на *означивание* воспринятых сигналов [Вахтин Н. Б. Заметки об одной особенности акта коммуникации // Антропологический форум. 2006. № 3]. Так, восприятие предмета предполагает не только обследование визуального материала, но и конструирование видимого объекта в сознании наблюдателя, при-

чем, в создании перцептивного образа прежний визуальный опыт человека действует не менее сильно, чем текущие чувственные ощущения [Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 1996].

Все эти данные существенно дополняют имеющиеся представления о предметной реконструкции в историческом музее. Музейный предмет в этой перспективе предстает не источником информации, привлекаемой посетителем, а объектом, подлежащим осмыслению, он не *содержит информацию, а наделяется значением*. Посетитель же оказывается не пассивным *объектом информационного воздействия*, а *активным субъектом коммуникации*, вычитывающим собственные смыслы в представленные предметы и по-своему интерпретирующим экспозицию. Следовательно он является не просто потребителем музейной – профессиональной – реконструкции (Р), но создателем собственной, *обыденной, реконструкции (Р')*.

Данная реконструкция обладает рядом характерных свойств. Она *анахронична*: в современном обыденном сознании доминирует монологический подход к прошлому и фактически игнорируется *инаковость* этого прошлого как Другого. В этом смысле современное сознание *а-исторично*: старые вещи воспринимаются «современными глазами», слова XVII века наделяются сегодняшним значением, а чувства и мысли людей реконструируются на основе современных (как будто универсальных) обыденных представлений. Далее, обыденная реконструкция *стереотипна*, поскольку строится на основе некоторого ограниченного набора объяснительных схем и шаблонных образов, усвоенных из доступных источников. Как всякое стереотипное образование, она устойчива к новой информации, что позволяет сохранять неизменным исходное представление. Поэтому вербальное комментирование экспозиции не всегда приводит к коррекции первоначального перцептивного образа: визуальное здесь явно превалирует над вербальным, *увиденный* предмет оказывается важнее, чем *сказанные* о нем слова. Наконец, обыденная реконструкция *некритична*, что проявляется, в частности, в представлении о полной *аутентичности* музейных экспонатов. «Кредит доверия» посетителя по отношению к музейному предмету особенно сильно проявляется в интерьерном музее: условность экспозиции игнорируется здесь почти полностью, благодаря чему возникает «эффект присутствия», ощущение сближения с иной эпохой, пребывания в настоящем боярском доме.

Важно отметить, что представленное в музее прошлое чаще всего опознается людьми как *свое*, и в этом качестве становится мощным фактором этнокультурной идентичности. Человек в музее «погружается» не просто в старину, а в *русскую* старину, чувствует не просто дух времени, но – *русский дух* и «атмосферу старинной жизни наших *предков*». Такое *присвоение* прошлого актуализирует чувство принадлежно-

сти к определенной диахронной этнической общности, в рамках которой культурные границы между эпохами не имеют значения. В результате столь волнующее всех сближение с прошлым оказывается иллюзией. В силу анахроничности обыденной реконструкции актуализация прошлого оборачивается его модернизацией: исходя из представления о единой и абсолютной норме и не допуская существования иных норм, человек интерпретирует поведение людей прошлого (своих предков!) на основе собственных мотивов и соображений, присваивая им свою логику, свой здравый смысл и свои чувства. Все это подспудно способствует осознанию *единства* с ними, принадлежности к одной общей традиции, однако, не оставляет никакой возможности для искомого *диалога*. Таким образом, обыденная реконструкция, осуществляемая посетителем в интерьерном музее, с одной стороны, весьма активно формирует этнокультурную идентичность, а с другой – фактически препятствует историческому познанию, воспроизводя а-историчные установки и способствуя закреплению стереотипных образов прошлого.

*А. В. Бочаров* (Томский ГУ)

### **Использование табличных и графических средств математической логики в репрезентации исторической информации**

При изучении явлений общественной жизни (как и любых других сложных систем) иногда необходимо учитывать и измерять десятки, сотни даже и тысячи признаков. Для того чтобы облегчить обработку, интерпретацию и представление столь сложной системы данных используются матрицы данных. Матрица данных – это прямоугольная таблица значений, в которой каждое пересечение строки и столбца (ячейка, клетка) содержит в себе только одно значение, описывающее один из объектов (случаев) по одной из шкал-признаков.

Каждая строка или столбец (шкала) в матрице данных представляет собой ряд чисел или любых повторяющихся однообразных для данной матрицы символов, в том числе слов. В однообразии представления данных главное отличие матрицы от обыкновенной таблицы. Обычная таблица – это всего лишь способ расположения любых блоков текстов или изображений так, чтобы их имело смысл читать или воспринимать не в какой-то одной строгой последовательности (например, справа налево и сверху вниз), а в любом направлении и с любого места. В отличие от матрицы в одной ячейке данных таблица систематизации может содержаться произвольное количество подчинённых ячеек, строк и столбцов. Такая свобода и разновариантность чтения даёт больше стимулов и возможностей для новых и неожиданных соотнесений и сопоставлений исторических явления и процессов.

Преобразование линейного повествования в таблицу систематизации фактов помимо преимуществ эвристического чтения весьма показательно при установлении неполноты и непоследовательности в предлагаемом образе исторического прошлого. Пустые ячейки в матрицах и таблицах сразу бросаются в глаза, значительна разница в объёме информации в разных ячейках. Такие информационные лакуны и неравновесия легко можно сгладить в линейном повествовательном тексте с помощью разного рода неопределённых выражений или просто посредством умолчания. Тогда как в таблице лишние водные и связующие выражения отбрасываются, во-первых, из экономии пространства, во-вторых, сама структура таблицы, заголовки строк и столбцов отражают смысловые взаимосвязи в описании событий. Любой нарратив можно свернуть в разного рода таблицы, а эти таблицы затем можно развернуть в разного рода нарративы (по принципу: одна ячейка таблицы – один абзац линейного текста).

Следующие направление – использование классической теории множеств. Одно абстрактное понятие может содержать в себе множество во менее абстрактных, а те в свою очередь могут состоять друг с другом в различных логических отношениях, а именно: вхождение; пересечение объёмов понятий; сложение объёмов понятий; логическая разность (союз «без»). Изучением этих и других логических отношений занимается логика предикатов (высказываний) и математическая классическая теория множеств (основоположник её Г. Кантор).

Историк выявляет и изучает множество событий и объектов прошлого, а также отношений между этими множествами (макрособытиями) и входящими в них элементами (микрособытиями).

Отношение между абстрактными понятиями можно описывать разными визуальными и вербальными средствами. Одно и то же историческое явление может быть репрезентировано на естественном языке, на формализованном языке логики, с помощью диаграмм Венна (или «кругов Эйлера»), с помощью графов-схем взаимосвязей. При репрезентации этой записи в электронном виде знаки логических отношений между частями высказывания могут служить гиперссылками на обобщающие содержательное раскрытие взаимодействий и соотношений между обозначенными историческими явлениями, событиями, личностями и объектами.

Как известно, диаграммы Венна (иногда также говорят о «кругах Эйлера») – это плоские фигуры, отношения между которыми в пространстве, а также их раскраска, соответствуют логическим отношениям между обозначаемыми этими фигурами понятиями. В виде диаграмм Венна, отдельные обозначения вышеприведённого историко-логического высказывания будут выглядеть как озаглавленные фигуры, которые в зависимости от логических отношений будут либо пересекаться, либо входить друг в друга. Каждая фигура диаграммы также

может служить гиперссылкой на другие виды репрезентации того же самого образа прошлого: на подробное линейное повествование, на табличную систематизацию, на формализованное логическое высказывание, на граф-схему взаимосвязей.

Ещё один полезный метод репрезентации исторической информации – использование теории графов в причинно-следственном и структурно-функциональном анализе. В графе причинно-следственных связей каждая стрелка может символизировать обобщающий нормативный закон, связывающий причину и следствие, а в электронном варианте схемы – служить гиперссылкой на описание и объяснение это закономерности. Особенно удобными граф-схемы оказываются, когда необходимо создать целостный образ сложной системы из множества причинно-следственных связей, то есть – образ исторической ситуации.

Важно также отметить, что можно частично автоматизировать перевод линейного текста в граф причинно-следственных связей. Автоматизация возможна, благодаря тому, что обозначение причинно-следственных связей проще всего выявлять по стандартным ключевым словам: «потому что», «так как», «вследствие того», «послужило причиной», «стало условием» и т. п.; набор таких выражений ограничен.

В целом, для современного историка (как исследователя, так и преподавателя) важно овладение навыками взаимного перевода графической символики схем, строгой структурированности таблиц и исторического повествования на естественном литературном языке.

*О. С. Свешникова* (Омский ГУ)

#### **Познавательные возможности фотографии как источника по истории повседневности археологических экспедиций<sup>§</sup>**

Обращение к изучению повседневности предполагает необходимость привлечения широкого круга «нетрадиционных» источников. В рамках «истории повседневности» (Alltagsgeschichte), сформировавшейся как направление германской историографии, в качестве наиболее информативных источников выступают источники личного происхождения, интервью и фотографии.

В целом, использование визуальных материалов в современной отечественной исторической науке оказывается в странной ситуации. С одной стороны, гуманитарное знание, прежде всего, культурология и социология, переживает визуальный поворот, что в условиях стирания междисциплинарных границ обязывает историка соответствовать тре-

---

<sup>§</sup> Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект № МК-3087.2008.6

бованиям времени. С другой стороны, использование фото- и киноматериалов в историческом исследовании носит преимущественно иллюстративный характер. Между тем, фотография является источником ценной исторической информации, а по каким-то проблемам и наиболее информативным источником.

Археологическая фотография, прежде всего, экспедиционная, имеет несколько особенностей. 1. Фотосъемка является обязательной частью фиксации материала при раскопках, т. е. не бывает экспедиции без фотографий. 2. Существует специальное место хранения археологической фотографии – фотоархив Института истории материальной культуры РАН, где собраны и систематизированы многие тысячи кадров, сделанные с середины XIX века до настоящего времени. В уникальных материалах этого архива представлены находки, раскопки, знаменитые археологи – экспедиционная жизнь на эти фотографии попала случайно. Совершенно по-другому сформированы личные фотоархивы, тоже довольно обширные. 3. Люди в кадр попадают нечасто, чаще всего археологическая фотография – это изображение фрагмента раскопа – зачистки слоя, бровки, могилы и т.д. – или находок. Существует два типа фотографирования людей в археологии: «случайный» (при съемке процесса или результата раскопок) и «специальный» (портреты, фиксация мероприятий). Среди портретов наряду с изображениями самих ученых выделяется два жанра. Это групповая фотография рабочих, распространенная в 1930–60-е гг. и широко представленная в материалах фотоархива ИИМК РАН, и «фото с жмуриком» – портрет в раскопе с расчищенным скелетом (жанр широко представленный в личных фотоархивах, особенно неархеологических). Типы фотографирования людей в значительной мере определяют различие в возможностях анализа изображений. Следует отметить, что большой интерес для исследователя представляют подписи к фотографиям, существенно повышающие их информативность.

Познавательный потенциал «случайных» фотографий связан с отображением элементов быта и социальных отношений, не зафиксированных или слабо отраженных в письменных источниках, – того, что представлялось неважным участникам событий и сохранилось, случайно попав в кадр. Так, на фотографиях, изображающих экскурсию на раскопки алтайских детей, мы видим устройство лагеря: высокие брезентовые палатки, поставленные на значительном расстоянии друг от друга, отсутствие открытого места общего сбора (чаще всего, это стол под навесом). На фотографиях процесса раскопок Камской экспедиции 1935 г. изображены только женщины-работницы, одинаково одетые: белые юбки, блузки с длинным рукавом и платки. Это обстоятельство кажется странным: для вольнонаемных рабочих и состав, и форма одежды необычные. Скорее всего, это заключенные; привлечение их к работе на раскопках было распространенной практикой в Советском Сою-

зе. Кроме того, фотографии дают возможность увидеть процесс раскопок: метод вскрытия памятника (большими площадями, квадратно-гнездовой, вперекоп и т. д.), орудия труда (лопата, кайло, шило) и т. д. — дополнить, подтвердить или опровергнуть информацию отчетов.

Анализ «специальных» фотографий возможен в двух плоскостях: во-первых, реконструкция субъективности фотографа-археолога (даже если в редких случаях, съемку производил не сам ученый, выбор объекта съемки и кадров, достойных хранения, принадлежит ему). То есть здесь важно, почему именно это и именно так снято. Необходимо учитывать при этом, что сам факт фотографирования показывает значимость объекта съемки. Критериев анализа может быть много: персональный состав (кто достоин фотографирования и особенно именного указания в подписи), сюжет фотографии (в какой ситуации сфотографирован) и т. д. Во-вторых, анализ самого изображения. Здесь как при рассматривании «случайных» фотографий важны детали, нечаянно попавшие в кадр. Кроме того, материалы личных фотоархивов позволяют увидеть сцены археологических праздников, неформального общения (в том числе с местными жителями) и т. д.

Археологическая фотография оказывается важным источником при реконструкции таких аспектов как внешний облик, способы проведения досуга, организация экспедиционной жизни и т. п. Представляется, что использование археологической фотографии как исторического источника позволит существенно расширить горизонты исследования.

*А. В. Захаров* (Челябинский ГУ)

#### **«Параллельные миры» археографии в проектах интернет-публикаций служебных списков XVII–XVIII вв.**

Возможности историков-археологов в последние полтора десятилетия расширились благодаря электронным изданиям. Отличаясь от книжных образцов максимальным уровнем доступа и удобством аналитической обработки, электронные издания формируют новое пространство в презентации текста исторического источника. Современные способы публикации источников неразрывно ассоциируются с компьютерными технологиями. Насколько плодотворно могут сосуществовать каноны подготовки исторических источников к печатному изданию и к проектированию информационных поисковых систем, баз данных? В полемике о качестве, преимуществах и ограничениях компьютерных технологий в археографии этот вопрос остается дискуссионным. Электронные издания в сети Интернет справедливо различать по форме презентации текста на два вида: *электронные републикации (аналоги)* печатных изданий, воспроизводящие ранее изданные доку-

менты, и *электронные автономные* издания, не имеющие печатных оригиналов. Популярность электронных аналогов объяснима наличием хорошо отработанной и доступной технологии создания. Потенциальным достоинством электронной републикации выступает свойство сохранения структуры первоначального образца — печатного текста.

Теоретически, любые неизданные источники воспроизводимы в автономном виде. Стремление обеспечить изданию максимально широкую аудиторию может противоречить возможностям бесконтрольного электронного тиражирования. Автору автономного издания приходится преодолеть своеобразный психологический барьер, «отпуская» в безбрежное электронное пространство текст, не закрепленный традиционной печатной формой, но обеспеченный сохранением авторского права.

В подготовке электронной републикации серийных изданий или автономной публикации массовых источников важны и выбор технологии презентации материала, и подготовленность издателя. Крупные проекты российских интернет-публикаций источников рождаются в среде взаимодействия историков-источниковедов и программистов. При прочих равных условиях, стратегию выбора компьютерной технологии издания определяет и вопрос рентабельности. Поэтому массивные тексты источников, опубликованных в прошедшие десятилетия, редко представлены машиночитаемой символьной формой, и уступают первенство так называемым «графическим» файловым форматам.

Актуальность печатной публикации служебных списков Государева двора и других институций Московского государства назрела еще в XIX в., что отмечали П. И. Иванов, академик М. М. Богословский. Боярские списки и боярские книги XVI – середины XVII вв. публиковались А. Л. Станиславским, М. П. Лукичевым, Н. М. Рогожиным. Однако служебные списки Разрядного приказа более позднего периода не публиковались. Все боярские списки ежегодно обобщали сведения о физическом состоянии, чиновных пожалованиях, местонахождении и владениях нескольких тысяч представителей служилой элиты. Другой документ – повестки думным людям, которые составлялись для созыва боярских съездов, фиксировали пофамильные перечни и краткие ответы думных чинов, приглашенных в царские резиденции.

Идея интернет-публикации служебных списков XVII–XVIII вв. как электронного автономного издания рождалась как преодоление «деструктивного правила» – своеобразного парадокса, согласно которому, информативная ценность доступных массовых источников пропорциональна количеству опубликованных памятников. А публикация отдельных служебных списков может способствовать только разорвать «замкнутый круг» помог ориентир на обеспечение эффективного

поиска в выборке фрагментов текста по персоналиям, параметрам учета, хронологии документов и последующей обработке массовых данных. Генерацию выборки текста и быстрый поиск данных обеспечила технология баз данных, примененная в двух информационных полнотекстовых системах, действующих в сети Интернет: «Повестки думным людям XVII–XVIII вв.» и «Боярские списки XVIII в.» ([http://zaharov\\_csu.ru](http://zaharov_csu.ru)). Проектирование этих баз данных выявило две основные проблемы археографической подготовки. Во-первых, разработка правил публикации, невозможность централизовать их детально, как в печатном издании. Во-вторых, требуется особая методика изучения формуляра массового источника, структура которого экстраполируется на определение взаимосвязей программных (реляционных) таблиц.

Стратегическая цель проектов состояла в адекватном отображении текстуальной ткани источников при многоуровневых запросах пользователей сети Интернет. Публикация «сплошным текстом» могла, в лучшем случае, передать структурированный массив нескольких документов. Электронная основа полнотекстовой базы данных позволяет хранить структурированные части текста, а с помощью программы поиска отображать отдельные выборки текста по заданным параметрам. Другими словами читатель, обращаясь к базе данных, может увидеть и полный текст источника, и одинаково легко выполнить выборку записей о каждом служилом человеке, о персональном составе всех чиновных групп из всех документов с точным указанием выходных данных.

Электронная публикация позволяет поэтапно вводить в научный оборот подготовленный текст. Это совершенно не исключает появление в перспективе печатного варианта текста, например, в варианте просопографических сводных записей. Но преимуществом электронного издания остается широкий спектр дополнений и инструментов: коррекция текста источника, подключение археографических комментариев и сопровождающих материалов. Возможность обратной связи с исследователями, диалог и анализ запросов пользователей открывают новые координаты измерения историографической ситуации по проектам компьютерной археографии, которые не противоречат общим принципам «традиционной» археографии. Информационные технологии усиливают позиции археографии, как науке о публикации исторических источников в контексте изучения условий коммуникации публикатора и автора-создателя документа.

**Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в непрофессиональной «интернет-историографии»: механика контекстов**

Исследуя Интернет как «историографическое пространство», необходимо учитывать специфику информационных и коммуникативных контекстов, особенно в весьма многочисленных случаях «профанного» обращения к истории в сети. Сами принципы размещения исторических материалов на сайтах обуславливают их представление в определенной, тематически более или менее «внешней» виртуальной оболочке, что делает репрезентацию того или иного исторического сюжета многослойной: изначально он воспринимается исходя из подводящей к нему информационной структуры, которая может соотноситься с ним как непосредственно, так и косвенно. Это взаимодействие с конкретным историческим материалом формализованной внешней репрезентации, а также системы обеспечения внутренних переходов и связок различных виртуальных уровней и составляет то, что мы условно назовем «механикой контекстов».

В большинстве рассмотренных сайтов русско-турецкая война 1877–1878 гг. включена в комплекс «Русско-турецкие войны», среди которых выделяется как безоговорочно справедливая, освободительная и одновременно как война с частично «украденной», благодаря проiscaм западной дипломатии, победой. Контекст комплексности настолько устойчив, что воспроизводится даже на некоторых сайтах туристических агентств (см., напр.: [http://turkey-info.ru/history/russia\\_turkey/wars/about.html](http://turkey-info.ru/history/russia_turkey/wars/about.html)), превращая сам факт многовекового военно-политического противостояния России и Турции в своеобразный пикантный «бренд»: «Отношения России и Турции вплоть до XX века – это история войн и сражений». В противоположность размещенной военно-исторической информации предлагается образ современной Турции, отражаемый воспроизводимой здесь же рекламой сервисных услуг, отелей, курортов, блюд турецкой кухни, конкурсов красоты и т. д. Этот контекст предельно функционален и одновременно корреспондирует с сенсационной подачей исторической информации «профанной» аудитории: «Как известно, Русь приняла христианство под влиянием Византии. Это все знают. Забывают только, что Византия – это современная Турция...».

Тот же модернизационный подход к сюжету, но часто с противоположным знаком, демонстрируют сайты геополитически ориентированных сообществ. Так, в виртуальном проекте Агентства электронной информации «Восток» «Россия – Турция: история и перспективы развития двусторонних связей» (<http://allturkey.narod.ru/about.htm>) тематическому блоку «Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.» предшествуют

уровни «Весь спектр российско-турецких отношений», «Новости, история, культура, традиции Турции», «История и состояние русско-турецких отношений». Главная артикулированная сайтом цель – «заполнить *информационный вакуум* в отношении политики и экономики Турецкой Республики, *оперативно и объективно* освещать основные стороны жизни Турции». Объективность декларируется и в названии проектной рассылки: «Россия – Турция: аргументы и факты».

Соответственно, в структуре сайта содержатся разделы с различными по коннотациям названиями – нейтральными («Турецкий этнос», «История Турции», «Турецкий язык» и др.), позитивными («Российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество», «Российско-турецкое военно-техническое сотрудничество»), негативными или настораживающими («Турецкое лобби», «Реестр недобросовестных турецких фирм», «Разведка и контрразведка Турции»). Поднимаются вопросы, сама постановка, а отчасти и формулировка которых предполагает неадекватность современных представлений о прошлом и настоящем российско-турецких отношений их реальному содержанию: «*Что стоит за политикой Турции на постсоветском пространстве: на Северном Кавказе, в Средней Азии или на Каспии?*», «*Какую помощь Советская Россия оказывала Турции в борьбе турецкого народа за свою независимость?*», «*Какова роль СССР в формировании турецкой национальной промышленности, о которой официальная Анкара старается умалчивать?*», «*Какую позицию Турция занимала во время Великой Отечественной войны?*», «*Что стоит за политикой Анкары по ограничению прохождения судов через Черноморские проливы?*», «*Каково реальное, а не декларированное Турцией состояние российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества?*». Далее прямо указывается на «однобокую трактовку» официальной Анкарой истории развития российско-турецких отношений, скрывающую «истинные цели, зачастую идущие вразрез с российскими национальными интересами». По существу, под объективным освещением истории понимается дезавуирование предпринимаемых Турцией «активных усилий по формированию российского общественного мнения в свою пользу». В подобном квази-объективистском контексте трактовка русско-турецких войн, в первую очередь освободительной 1877–1878 гг., приобретает дополнительную, ангажированную оценочно-информационную нагрузку. От такой «объективистской» формы актуализации полностью отказывается, например, Аналитическое товарищество «Русского Дома» на сайте «Православие.ru» – как самим содержанием «футурологического» материала «Назад, к русско-турецким войнам?» ([http://www.pravoslavie.ru/analit/global/russturk\\_war.htm](http://www.pravoslavie.ru/analit/global/russturk_war.htm)), так и переключкой его с более глобальными сюжетами, выносимыми на другие страницы в качестве новостных или аналитических: «Уроки Косова», «Россия и мировой восточный вопрос», «Новый передел мира на пороге III тысячелетия: геополитический и историософский аспект» и др.

Также небесспорные, но в целом более конструктивные подходы к интернет-репрезентации русско-турецкой войны 1877–1878 гг. определяются, как правило, более узкой специализацией сайтов при сохранении комплексного характера материала (за счет опять же более специализированных параллелей с военно-историческими реалиями других периодов). «Стабилизирующую» роль играют здесь конкретизация проблематики, подчеркивание исторической дистанции, обращение к большему количеству первоисточников разнородного типа (см.: «Дедовские войны» – <http://www.kulichki.com/grandwar/>, «Хронос» – <http://www.hrono.ru>, «Служба тыла» – <http://www.tyl.mil.ru>, «Российская история в зеркале изобразительного искусства» – [http://www.sgu.ru/rus\\_hist/](http://www.sgu.ru/rus_hist/) и др.).

*Ю. Я. Вин, Д. Е. Кондратьев, А. С. Нурмуханов* (ИВИ РАН)

#### **Принципы машинного анализа понятий и терминов в СУБД «Византийское право»\***

БД «Византийское право» содержит написанные на латинском и греческом языках тексты крупнейших законодательных сводов Византии, а также их старославянских рецепций. СУБД обеспечивает ознакомление не только с содержанием текстов полнотекстовых документов, но и с лексикой каждого памятника права, насчитывающей порою до сотен тысяч словоформ. Важнейшую научную задачу адекватной репрезентации лексики и машинного анализа понятий и терминов византийского права поддерживает ряд специальных программных приложений.

Одна из основных функций СУБД заключается в отображении информации о лексике введенных в массив данных БД источников в форме Словников. Каждая включенная в них словоформа воспроизводится в оригинальном виде с указанием частоты ее употребления в тексте источника. Построение Словника, будучи технической процедурой, создает основу для машинного анализа понятий, терминов памятников права.

В первую очередь речь идет о возможности сравнения лексики различных изучаемых источников. Эту задачу выполняет приложение «Сравнение словников», в котором реализованы опирающиеся на теорию множеств и математическую статистику алгоритмы. Основные функции приложения «Сравнение словников» предусматривают репрезентацию отличий лексического состава сравниваемых источников путем отображения несовпадающих и общих для них словоформ, а также их суммарного объединения.

Одним из главных направлений исследований в сфере права безусловно является изучение понятий и терминов. Их систематизация всегда

---

\* Исследование выполняется по проекту РГНФ № 08-01-00186а.

была и остается актуальной научной задачей. Ее решение в СУБД обеспечивает Блок понятий и терминов (БПТ). Он предназначен для систематизации и анализа аутентичных понятий и терминов. Практическое выполнение этой задачи требует грамматической классификации лексики с учетом ее семантики в зависимости от языка используемого источника. БПТ делает возможным накопление данных о греческой, латинской, славянской лексике, а также об ее заимствовании и транслитерации. Фиксация отдельных словоформ в БПТ предполагает определение их характеристик с точки зрения частей речи и установление лексического значения. Важным компонентом фиксируемых сведений становится выделение синтагматических групп и фразеологических оборотов с используемой лексикой в определенном ее значении. Благодаря тому актуализируется контекстный анализ права, сопровождающийся переходом от изучения лексики, представленной перечнем отдельных словоформ, к понятиям и терминам, репрезентируемым в составе образованного ими семантического поля. Результатом выполнения утилитарных информационно-поисковых процедур БПТ служит установление фрагментов текстов изучаемого источника, содержащих относящуюся к искомому понятиям и терминам лексику. По мере усовершенствования БПТ предполагается фиксация логико-грамматических связей и ассоциативных отношений аутентичных понятий и терминов в высказывании. БПТ нацелен на создание технических условий для проведения изысканий в области текстологической прагматики изучаемого источника. Разработка аналитических функций БПТ направлена на построение Банка данных понятий и терминов и Тезауруса.

Не менее существенны для формирования аналитического потенциала СУБД Блок «Имена» (БИ) и программное приложение «Экспликация» (ПЭ). Аккумулированные в БИ лексические данные образуют коллекцию «номенов» — отдельных членов имен собственных и названий, выявленных в ходе анализа словников изучаемых источников. При этом объектом машинного анализа становятся как односложные, так и многосложные имена и названия, независимо от того, написаны ли они на латинском, греческом или славянском языке. В процессе выполнения информационно-поисковых процедур с помощью БИ предполагается выделение фрагментов текстов изучаемого источника, содержащих лексические атрибуты искомого личного имени или названия с учетом их частичной или полной идентификации. По замыслу разработчиков БИ репрезентирует имена собственные и названия в оригинальной транскрипции с учетом возможной их транслитерации. ПЭ поддерживает решение задач по лексико-грамматической систематизации массива данных Словников, хранящихся в БД.

Наиболее наукоемкие аналитические задачи, на решение которых ориентирована СУБД «Византийское право», состоят в определении информационной близости изучаемых памятников византийского права

и их славянских рецептов. Их сравнение осуществляется путем сопоставления контекстов согласно семантике использованных в них понятий и терминов. Этой цели отвечает Модуль определения информационной близости (МОИБ) и Блок когнитивного картирования (БКК). С их помощью производится сравнение анализируемых текстов на основе методов математической статистики и когнитивного картирования, проецируемого на аутентичные понятия и термины. Они включены в трехуровневую иерархическую структуру с условным названием «Полигlossия». Интегрируя лексику изучаемых источников, логическая и физическая структура «Полигlossии» образует когнитивно-семантический остов выстраиваемой иерархии. Она представлена в двух вариантах, обеспечивающих различную степень семантического обобщения сведений о проблемных и предметных полях, тяготеющих к ним концептах и ключевых понятиях, а на уровнях фактической репрезентации – о логико-грамматических и семантических функциях лексики сравниваемых фрагментов текстов. Указание исследователем этих данных в МОИБ опосредует автоматизированное определение весовых коэффициентов понятий и терминов и сравнение текстов источников, а БКК поддерживает адекватную атрибуцию каждого понятия и термина.

Тем самым создана посылка для проектирования Информационно-аналитического программного комплекса (ИАПК), призванного осуществлять автоматизированный анализ историко-правовых и деловых текстов. Дальнейшая разработка аналитического потенциала ИАПК направлена на развертывание экспертной системы.

*Н. А. Селунская* (Институт всеобщей истории РАН)

**Возможности использования мультимедийных объектов  
для самообучения, интерактивного преподавания и презентации  
результатов исследований**

Обычно образовательные программы, представляющие детям и подросткам историю прошлого, либо претендуют на полноту изложения путем создания т.н. «большого нарратива», либо делают упор на подачу материала по «ассоциативным рядам». Первый путь – наиболее типичен для учебного пособия традиционного бумажного формата. Второй как будто бы создан для воплощения с помощью инновационных электронных технологий. Иными словами, в последнем случае, по каждой стране/эпохе/цивилизации создается список разнородных примечательных моментов, так сказать, *pieces of interest* (культурные достижения – знаменитые памятники – великие правители – несколько наиболее известных событий). Оба подхода при кажущейся привлекательности содержат ряд нежелательных моментов, которые должны быть проанализированы. Ошибочной является попытка обучения, в

основе которого – картина из ярких точек, никакой системы не образующих (их отбирали по признаку яркости, а не по взаимосвязанности).

С другой стороны сама по себе методика работы с казусами и выборками примеров не является порочной, если корректно осуществлен выбор казусов, а также проведена систематизирующая интерпретация первичного материала в помощь ученику и преподавателю, выявлены связи примера и широкого историко-культурного контекста. Куда опаснее устойчивый выбор единичных схем-образов, призванных репрезентировать данную страну/эпоху/цивилизацию в восприятии аудитории. Средневековая Европа в такой системе передачи информации будет ассоциироваться со схемой – т. н. «феодалской лестницей», которая существовала в социальной иерархии общества исключительно редких территорий и на протяжении минимальных периодов. Италия на определенном отрезке развития будет ассоциироваться с успехами развития торговли и ремесла, подъемом городов, а эпоха Ренессанса – исключительно с достижениями в области архитектуры, живописи и т. д.

Очевидно, что для нужд самообразования и обучения крайне важно иметь не просто доступ к данным, но получать структурированную информацию, в виде базы данных (с возможностями поиска по ключевым словам) или в виде гипертекста, пронизанного системой перекрестных ссылок. Осуществленный мной проект «Италия страна городов, страна Ренессанса» (и его результат в виде DVD) демонстрирует возможности использования мультимедийных объектов и интерактивных моделей для обучения и формирования систематизированных представлений и интерпретаций истории итальянских городов-коммун. Проект был призван совместить несколько планов или ракурсов рассмотрения исторических реалий: проблему континуитета истории (континуитета городских центров и культов небесных покровителей городов) и специфику развития Ренессанса как городской культуры (тему новой городской религиозности, вопрос патронажа в искусстве со стороны религиозных объединений, городского нобилитета и т. д.).

Итак, CD-ROM включает структурированную в виде баз данных информацию и систему взаимосвязанных ключевых тем и понятий. Выделены разделы «Энциклопедия» (статьи о городских общинах и центрах, правителях и деятелях культуры итальянских земель от Поздней Античности до Высокого Ренессанса, снабженные видео- и аудио-приложениями), раздел «Образы городов» (галереи и слайд-шоу), раздел «Панорама Ренессанса избранные сюжеты» (в т. ч. озвученные слайд-шоу по теме «континуитет истории», образы дурного и доброго правления), выборка музыкальных фрагментов светского и сакрального характера, которая составляет самостоятельный раздел, но может использоваться для сопровождения любых визуальных выборов.

Слайд-шоу и галереи фотографий и видео демонстрируют ряд изображений и артефактов, связанных с темами репрезентации власти,

отношений художников и их патронов, особенностей культа и благочестия (в раннехристианской традиции, во францисканской религиозной культуре). Работая с системой интерактивных окон и гипер-линков, пользователь организует информацию в любом удобном для него порядке, что способствует лучшему запоминанию. Электронная форма хранения информации позволяет использовать диск для репрезентации как общих, так и частных сюжетов истории (самостоятельно или в качестве дополнения к традиционным формам передачи информации).

Пример 1. Общая тема: проблемы раннего итальянского урбанизма и средневековой культурной истории. Возможности использования мультимедийного проекта для изучения курса «Традиция *цивitas* и коммуны средневековой Италии». Специализированный курс служит введением в специальность для студентов, начинающих учиться на отделении страноведения (Средиземноморье и Италия). На данной стадии обучения студенты не обладают достаточными навыками для работы с текстами на латыни и вольгаре, которые позволили бы осветить широкий спектр сюжетов истории развития городских коммун. Использование мультимедийного проекта служит универсальным пособием. Из раздела «Энциклопедия» достаточно задействовать подразделы «города-коммуны» (общая статья «развитие городов» и 19 вспомогательных статей), подраздел «новая городская религиозность (статьи, видеофрагменты, слайд-шоу «континуитет»», подраздел «Властелины Ренессанса» (статьи, слайд-шоу), раздел «образы городов» (4 галереи: Рим, Флоренция, Венеция и Верона, Феррара, Римини, Равенна, Болонья, а также слайд-шоу), раздел «Панорама Ренессанса» (слайд-шоу «лица и костюмы», «образ власти»).

Пример 2. Специальная тема. Возможности использования мультимедийного проекта для изучения темы религиозного конфликта в средневековом малом социуме на примере церковного прихода конкретного городского центра («Лука: небесные патроны и средневековая община»). Возникновение движения нищенствующих с их особыми формами благочестия и культами святых, привело к ослаблению традиционных культов городских патронов. Данный исторический сюжет подкрепляется нотариально заверенными завещаниями и материалами судебных процессов. Используемые тексты составлены на латыни с обилием специальных формул и клише, которые интересны только для узких специалистов в области истории права. Именно поэтому представляется полезным использовать мультимедийный проект для репрезентации темы и воссоздания широкого исторического контекста. Из раздела «Энциклопедия» задействуются подразделы «города-коммуны» (общая статья «развитие городов»+ вспомогательные статьи Лука, Флоренция, Тоскана и «новая городская религиозность», разделы «Образы городов», «Панорама Ренессанса, слайд-шоу «францисканская духовность».

**Дистанционное обучение в Интернет-среде:  
опыт исторического факультета МГУ**

Дистанционное обучение – это универсальная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и телекоммуникационных технологий, которые создают условия для свободного выбора образовательных дисциплин, постоянного диалогового обмена с преподавателем; при этом возможности интерактивного режима обеспечиваются соответствующим программным обеспечением.

Дистанционное обучение от традиционных форм обучения отличаются такие характерные черты, как гибкость (возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе), модульность (возможность выбора из независимых учебных курсов или модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным потребностям), широкий охват методических материалов (возможность одновременно обращения ко многим источникам учебной информации – электронным библиотекам, банкам и базам знаний), технологичность (использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих продвижению человека в мировое информационное пространство), социальное равноправие (равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья и – как правило – материальной обеспеченности обучаемого).

В рамках «Концепции развития системы дистанционного обучения (ДО) в МГУ» и на основе «Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России» исторический факультет МГУ разработал и реализует программу дистанционного образования для абитуриентов, студентов и специалистов, желающих повысить свою профессиональную квалификацию. В 2008 г. исторический факультет МГУ реализует несколько дистанционных курсов. Ниже дается краткая характеристика одного из них.

В рамках российско-финляндской программы межвузовского сотрудничества *Cross-Border University (CBU)*, в которой, наряду с четырьмя университетами Финляндии и тремя российскими вузами, участвует и истфак МГУ, разработан и апробирован англоязычный курс *“Economic History of Russia”* («Экономическая история России XIX–XX вв.»). Курс, включённый в учебный план магистерской программы *“Cross-Border University History Programme, 2007-2009”* (трудоемкостью 6 зачетных единиц), был реализован в январе-марте 2008 г.

Работа студентов (российских и финских) в рамках данного курса, охватывавшего три исторических периода, была разделена на три модуля и включала несколько видов основных занятий:

- знакомство с учебными материалами,
- обсуждение дискуссионных вопросов в рамках форума-семинара,
- выполнение тестовых заданий,
- работа с источниками.

Для обеспечения этих задач курса был разработан следующий комплект учебных материалов.

1) Главы из книг или аналитические статьи на английском языке, которые хорошо описывают в общих чертах экономическую историю России, изучаемую в рамках модуля.

2) Исторические документы, имеющие принципиальное значение для понимания эпохи и характеризующие экономические аспекты развития России по каждому модулю (например, «Манифест 19 февраля 1861 года» и т. д.).

3) Таблицы с нетривиальными статическими данными по каждому модулю (данные роста продуктивности аграрного труда, сравнительные сведения по социальной мобильности крестьянских хозяйств и т. д.).

4) Изобразительный материал, связанный с экономической историей – по каждому модулю.

5) Глоссарий, включающий как основные понятия экономической истории России, так и биографии ведущих государственных деятелей.

Основными средствами проверки знаний были тесты и письменные работы (исторический / источниковедческий комментарий к источникам пп. 2-4 и финальное аналитическое / аргументационное эссе). Окончательная оценка выводилась из суммы баллов, полученных студентом по каждому из восьми заданий.

Интерактивный режим в реализации курса обеспечивался модульной объектно-ориентированной средой дистанционного обучения *Moodle*, соответствующей международным стандартам (SCORM) и применяемой в Центре дистанционного обучения МГУ.